



Альберт ЛИХАНОВ

ЛАБИРИНТ

Альберт Лиханов

Лабиринт

В.Г. Еришов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138918

*Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2 / Комментар. И. Мотышова.: Мол.
гвардия; М.; 1986*

Аннотация

Все запутано и фальшиво в мире взрослых. Отец Толика уходит к другой женщине, а с ее сыном Толик становится друзьями. Выдержат ли подростки испытание жизнью?

Об ошибках (опечатках) в книге можно сообщить по адресу <http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3084>. Ошибки будут исправлены и обновленный вариант появится в библиотеках.

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	8
3	14
4	20
5	25
6	31
7	38
8	43
9	53
10	57
11	66
12	71
13	79
Часть вторая	82
1	82
2	86
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Альберт Лиханов

Лабиринт

Мальчишечий роман

Не плакать. Не смеяться, а понимать.
Б. Спиноза

Часть первая

Серая ворона

1

Толику приснился сон.

Будто он залез ночью в школу и на цыпочках пробирается по коридору. В школе тихо и темно, только уличные фонари роняют сквозь окна на пол светлые пятна. Толик шагает по этим пятнам, ступает сторожко, но ботинки все равно тукают так, будто кто забивает кувалдой огромные гвозди. Он крадется в конце коридора, туда, где химический кабинет; он знает, что там, в химическом кабинете, есть что-то страшное, ужасное прямо-таки, но все равно крадется, словно тянет его туда магнит.

Толик открывает дверь, входит в комнату и чувствует, что тут кто-то есть. Мурашки ползут у него по спине, ему хочется повернуть и кинуться отсюда что есть духу, но он не уходит. Со стен, из-за мерцающих стекол его разглядывают бородатые ученые. Толик прямо ощущает их взгляды, но не ученые пугают его. В кабинете есть кто-то. Толик озирается. На длинном столе стоят стеклянные банки – круглые, как шары, вытянутые, словно длинные стаканы, толстые и приземистые, будто пузыри. Вдруг Толик видит, что все эти банки не пустые. В них журчит, шлепает, пенится разноцветная муть. Муть хлюпает, переливается через край, ползет по столу, растет, как на дрожжах, и неожиданно Толик понимает, что вся эта муть и есть кто-то. Что все эти оранжевые, зеленые, лиловые, черные щупальца, ползущие из банок, живые.

Разноцветная гадость ползет, разрастается, заполняет собой всю комнату от пола до потолка, и вот Толик уже чувствует ее липкие объятия. Он стоит по горло в хлопьях густой разноцветной пены и с ужасом ощущает, как она обволакивает его со всех сторон, обвивает, душит, давит, лезет в нос, в уши, в глаза... Толик уже не может дышать, вот уже сердце стучит в нем все реже, все тише... Собрал силы, Толик хочет крикнуть, но крик захлебывается в густой пене...

Толик открыл глаза сразу, а просыпался долго, будто и в самом деле стряхивал с себя цветные липкие хлопья, будто высвобождался из душящих объятий этой жуткой твари. «Приснится же такое», – подумал он.

Когда пили чай, Толик рассказал про свой жуткий сон. Обычно сны рассказывала баба Шура, но сегодня она молчала – то ли не увидела ничего ночью, или, может, просто не с той ноги встала. И Толик рассказал все по порядку – про ночной коридор, про химический кабинет, про ученых, которые разглядывали его из-под мерцающих стекол, и про разноцветную бесформенную тварь, которая душила его.

Мама взглянула на Толика тревожно и сказала, что, пожалуй, надо купить ему матрасик помягче, а то на раскладушке неудобно спать, оттого и такие тяжелые сны. Отец с мамой не согласился, стал доказывать, что это ерунда, что раскладушка тут ни при чем и что такие сны Толик видит потому, что слишком много смотрит телевизор.

Толик ничего не сказал на замечание отца, но в душе с ним не согласился, потому что вряд ли сны зависят от телевизора, к тому же сон был цветной, а цветного телевизора у них не было.

Они в молчании допивали чай, и Толик удивленно поглядывал на бабу Шуру. Странное дело, она молчала, хотя ясно, что главный специалист по снам в их доме не мама, не тем более, отец, а бабка, которая знала про сны все. Вот, скажем, если приснится кровь – это хорошо. Скоро, значит, встретишь родственников. Если увидишь во сне снег – будут важные новости. Если приснится покойник и особенно кто-нибудь из умершей родни – погода переменится. А увидишь мясо – вот ведь глупость какая! – значит, заболеешь и, мо-

жет, даже помрешь. В общем, бабка знала все про сны и сновидения, и Толик удивлялся, как это она до сих пор молчит, не обронила ни словечка.

Он допил чай, поставил по бабкиному обычаю стакан кверху дном – мол, напился, благодарю, и подумал, что, видно, бабкины приметы связаны только со всякими там покойниками, а вот до химических веществ, которые лезут из склянок и колб, да еще и оживают к тому же, – до этого бабкина наука еще не добралась.

Толик встал из-за стола, натянул валенки, проверил, все ли, что нужно, в портфеле, и вдруг услышал, как бабка проговорила своим скрипучим голосом:

– Никак к беде.

Он не понял сначала, про что это она, и глянул вопросительно на маму. Мама вздохнула тяжело, соглашаясь с бабкиным предсказанием, – она верила всяким бабкиным словам. Толик посмотрел на отца. Отец подмигнул ему и мотнул головой – плюнь, дескать, на бабкино карканье.

Толик улыбнулся отцу, но отчего-то ему стало тревожно.

«Пару получу?» – подумал он, взвесил свои возможности и успокоился, решив, что да, шансы на пару есть – никак не выходят примеры по алгебре, хоть тресни, не выходят! Он вздохнул и смирился с бабкиным пророчеством: пара так пара.

2

Но двойку Толик не получил.

Правда, сначала все шло как по писаному, и, когда Толика вызвали к доске, он подумал, что бабка все-таки настоящая пророчица и что теперь, пожалуй, он будет каждое утро рассказывать ей свои сны, чтобы знать наперед все беды и все удачи. Но дальше пошло наперекосяк.

Задачку – хотя ему и попалась трудная – он решил, попытел, конечно, что за вопрос, но все-таки решил и получил четвертак – надо же, по алгебре!

Когда Толик вернулся на свою парту, про сон и про бабку он уже почти забыл. Все затмила четверка.

Да и еще когда домой возвращался, встретил на крыльце тетю Полю, соседку, еще ее спросил про сны – мол, как так, что они сбываются. Тетя Поля, высокая и худая, но добрая и Толика любившая, засмеялась:

– А ты им не верь, вот они и не сбудутся.

И Толик окончательно выбросил бабкино предсказание из головы.

Дома, под хорошее настроение, он быстренько выучил уроки, со старанием, высунув язык, красиво вывел все буквы и цифры – словно первыш на уроке чистописания. Потом рисовать уселся.

У Толика все картинки одна на другую похожи. Еще в пер-

вом классе, когда ему отец подарил краски, понравилось Толику море рисовать. И чтоб всегда над морем солнце было. И всегда корабль Толик рисует – парусный фрегат с тугими от ветра парусами.

Вон там, на тумбочке, целая горка листов с этим кораблем. Несется он, вспенивая волны, накренился едва от быстрого хода и быстрого ветра. И хотя давно рисует Толик этот корабль, всякий раз он у него по-новому выходит – то форштевень сделает искусный, с узором, то старательно якорь нарисует. И солнце тоже по-всякому можно. В зените над самыми корабельными мачтами и на закате, у горизонта. Если у горизонта – море надо делать черней и только гребешки волн прозрачными от косо́го света.

Рисовать Толик садится не часто. Рисовать ему хочется не всегда, а когда какое-то особое чувство в нем появляется. Нет, не просто хорошее настроение, а что-то такое, что не объяснишь словами. Вот будто струна в тебе есть. Струна эта чаще всего молчит, но настает время, когда она звучать начинает: тихонько поет. Вот тогда садись скорей рисовать. Непременно море выйдет таким, каким надо, – темным, грозным или, наоборот, лазоревым, ярким. И корабль тогда получится отличный: скользящий, быстроходный – настоящий фрегат.

Толик рисовал свою картинку, слушал, как звенит в нем самая тонкая струна, и не заметил, как за спиной остановилась бабка. Очнулся, лишь когда она по голове его гладить

стала, как маленького. Дернулся, мазнул красную полосу по белому небу, все дело испортил. А бабка будто не заметила.

– Молодец, внучок, – похвалила. – Говорят, они получают бесщетно!

– Кто – они? Чего – получают?

– Да енти, как их, ну, рисуют-те!

– Художники?

– Во-во! – закивала бабка.

И Толик задумчиво провел красной кисточкой по листу. Продолжил черту, которую из-за бабы Шуры мазнул. Потом накрест – еще одну.

Опять она за свое, баба Шура, опять сейчас говорить начнет, чтобы Толик художником стал. Он вздохнул, стал промывать кисточку, болтать ею в стакане с серой водой. Удивительный все-таки человек баба Шура. Ей ведь наплевать, кем Толик станет. Художником или еще кем. Получал бы шофер больше художника, она бы Толику говорила, чтоб шофером стал. Но бабка узнала от кого-то, что художники много зарабатывают, и всякий раз его хвалит за рисунки, какие бы они ни были – хорошие или совсем плохие. И еще приговаривает:

– На отца-то, на недоучку, не примеряйся! Изо всех грамот саму денежну выбирай.

«Ну, начинается!.. – подумал Толик, на бабку косясь. – Опять отца пилить станет!»

Ох, бабка! Всегда она права, даже если сама себе противо-

речит. Вот Толику говорит, чтоб учился, чтобы не брал пример с отца. А отец хотел бы учиться, но попробуй-ка зайкнись он об этом дома! Мама-то, может быть, и ничего, возражать бы не стала, даже, пожалуй, наоборот, но бабка – ни в жизнь!

Отец у Толика техником работает. В конструкторском бюро. Хочет он инженером стать, но для этого ведь учиться надо. «Пропустил я свое! – говорит иногда отец и печально смотрит на Толика. – Вот уж Толик у нас всех перегонит, обязательно перегонит, инженером станет, машины новые будет конструировать». Но хоть отец говорит, что отстал, от своего он не отступает. Когда про работу свою с мамой рассуждает, глаза у него блестят. Толик его слушает и улыбается. Не все он понимает, что отец говорит, но что понимает – очень ему нравится. Завод, где отец работает, какую-то новую машину построить хочет. Ясное дело, чтоб построить, надо сперва чертежи начертить. Отец раньше пустяки чертил, не главные чертежи, а вот теперь ему важную работу дали. Он говорит: «Спроектировать один узел». Ну, в общем, начертить одну деталь, так Толик понимает. Отец смеется. «Нет, – говорит, – не совсем так, но в общем-то да, правильно». Словом, хоть и не кончал отец институт, работает техником в конструкторском бюро, но совсем как инженер.

– Аньжанер! – Бабка злится. – Аньжанер, а вся цена-то сто рублей. Без вычетов. – И отца уговаривает, чтоб ушел из конструкторского, чтоб перешел в цех.

По-всякому бабка отца уговаривает. Сперва добром, как она выражается.

– Переходи-ка ты, Петя, – говорит, – в цех! В цех, Петя, переходи! Не все одно тебе, где работать! В цеху работы по двести заколачивают – слышь, в два раза больше!

А когда отца такие уговоры не пробирают, таранит его бабка с разгону. Личико у нее розовеет от ярости и кукожится, словно задница у мартышки. Ладочки бабка в кулачки сжимает и орет скрипучим голосом:

– Тилигенция голоштанная! Дармоеды! Мужик здоровой, мешки грузить может, а сто без вычетов получает! А с вычетами-то?

«Ну все», – думает Толик. Сейчас закричит отец, не выдержит или оденется молча, дверью хлопнет. А мама, как только отец выйдет, возле бабки бегать станет, по плечам ее гладить, водичку носить, валерьянку капать, утешать, видите ли.

Вернется потом отец – и в доме как в глухом лесу. Тихо, пусто. В одном углу баба Шура сидит. Мама возле ее локотка, ни на шаг в сторону – слуга несчастная. Отец – в другом углу. Дымит, туманит комнату.

Ходит между ними Толик неприкаянный, за что взяться – не знает. Все из рук валится. Подойдет к отцу, скажет ему что-нибудь, он ответит. Не как всегда – подробно, с толком, а так: буркнет, скажет слово – и все. Подойдет к маме – уж лучше и не подходить к ней, – посмотрит она больными гла-

зами, скажет, будто простонет. Ну а бабка – как сыч на суку.
К ней не подходит Толик.

Мается он, бродит, рисовать свое море сядет, в синюю краску кисточку макнет, по листу проведет – бросит. Море веселое, море яркое и светлое должно быть, а тут оно мертвым, серым выходит.

От такого моря еще тоскливей становится Толику.

3

Толик промыл кисточку, закрыл коробку с красками, порвал испорченный рисунок. Ах, баба Шура! Вот было у него настроение замечательное – еще бы, шутка ли, четверка по алгебре, а теперь опять как всегда. Будто была солнечная погода, да подул ветер, и снова хмарь, снова низкие лучи. И четверка по алгебре уже совсем исчезла. Умом знаешь, что она есть, а радость и удовольствие пропали.

Всегда она так, баба Шура, всегда все испортит, расстроит, такое у нее странное уменье – все и всем портить.

Бабка что-то притихла. Толик поискал ее глазами и увидел на диване. Баба Шура сидела, согнув спину, а на коленях у нее лежал бумажник. Знаменитый бабкин бумажник с потертыми, побелевшими краями.

«Вот значит что! – ухмыльнулся Толик. – Пенсия!» Ну конечно, не зря же бабка о богатых художниках разговор завела. Она зря и слова не скажет.

Что она за жадина все-таки! Ни характер хороший, ни другие какие достоинства в людях бабку не интересуют. Если о ком разговор зайдет, бабка всегда один вопрос задает: а сколько он получает? Если много, она согласно головой кивает – заранее, хоть и человека ни разу не видела и не знает, кто он такой, а уже уважает. Если мало зарабатывает, ей отвечают, она про такого уже ничего и не спрашивает. Неин-

тересно ей.

Ну а дома – дома бабка всем деньгам хозяйка. Как получа-ка – и мама и отец все деньги бабке сдают. И она им выдает потом. Пойдет мама в магазин, баба Шура ей денег дает, а вернется мама, всю сдачу до копейки бабка у нее забирает. Только оставит восемь копеек – на троллейбус туда и обратно. Обед мама с собой в бумажке носит. Два бутерброда с колбасой или, того хуже, с баклажанной икрой. Вот и ходит мама белая как бумажный лист.

Отец у бабки тоже под отчетом. Вечером она ему полтинник в карман кладет. Ничего не говорит, сунет полтинник, и все – на обед. Толик вначале все удивлялся, откуда у бабки столько полтинников. Потом в магазин с ней пошел и увидел, как баба Шура там тройку на полтинники разменивала. Чтоб, значит, удобнее отцу выдавать.

Ну а про Толика и говорить нечего. В школьном буфете булочки на переменках продают – желтенькие, пушистые, пятак цена-то, да нету у Толика пятака. Баба Шура ему кусок хлеба с маслом дает. Все хлеб да хлеб...

Конечно, и хлеба Толик поест, с ним, понятно, какой разговор. Вот маму жалко, когда поглядишь, как она бабе Шуре все копейки из кармана сдает.

А баба Шура сидит в это время выпрямившись, будто на уроке. Потом вытащит из серой кофты блестящий ключик, откроет комод, достанет оттуда бумажник, в бумажник деньги сложит, комод закроет, ключик обратно в карман.

Будто в доме воры есть и боится баба Шура, как бы кто деньги не взял. Все прячет, прячет деньги в свой бездонный бумажник.

А когда пенсию бабке приносят, она по пять раз на день бумажник свой из комода достает. Деньги все пересчитывает.

От этой пенсии, которую бабке ровно двадцатого числа почтальонша приносит, никому житья нет.

Если почтальонша хоть на день опоздает, бабке прямо невмоготу. Все топчется, топчется по комнате. Будто потеряла чего. Молчит и топчется. Потом не выдержит – оденется и на почту идет. Все бросит – и пойдет. Если на кухне суп у нее варится, так и не доварит, выключит газ и айда на почту. Если там очередь, не поворотит назад баба Шура. Хоть час выстоит, но заставит все перерыть, все бумажки перетрясти, найти ее пенсию. Уж тетки на почте бабу Шуру в лицо знают. И почтальонша старается первой на своем участке ей деньги принести, чтоб не бегала, не мешала работать.

Зато когда принесут бабке ее «зарплату», когда пересчитает она, мусоля пальцы, грязноватые бумажки да сложит их в комод, под тонкий серебристый ключик, посмотрит бабка вокруг себя, будто Наполеон какой. Будто она победу великую одержала.

И по ней видно – по сухонькому ее лицу, по грачиному носику, какое ей от этой пенсии удовольствие. Даже вроде добрей баба Шура становится.

Вот и сейчас.

Сосчитала бабка деньги и в потолок уставилась, улыбається потолку.

Смотрит Толик на бабушку и не узнает. Морщинки на щеках разгладились, и в глазах какое-то свечение.

Баба Шура очнулась, увидела, что Толик ее разглядывает, разом построжала, спустилась со своих денежных облаков.

Насупилась, захлопнула бумажник, спрятала в комод, подалее от Толикиных глаз.

– Иди-ка, Толик, – строго сказала, – погуляй.

«В одиночестве, наверное, о своих деньгах помечтать хочет, – подумал Толик, – чтоб никто не мешал», – и натянул на голову танкистский шлем – свою гордость. Застегивая его, Толик вспомнил отца и снова поразился бабке. Как это ухитрится она мерять отца только на деньги! Да отец такой замечательный!

Толик вышел во двор. В сгустившей темноте горела яркая лампочка, освещая хоккейную площадку. Под ней носились мальчишки, гоняли шайбу, орали, и Толик поправил шлем.

Сейчас он придет на площадку, и мальчишки без слова уступят ему место центрального нападающего, потому что на Толике отцовский шлем, а всю эту площадку сделал не кто-нибудь, а отец Толика.

Толик вспомнил, как это было. Отец вышел во двор с совковой лопатой и стал раскидывать снег. Он разогрелся, от него пошел пар, и тогда отец скинул пальто, повесил его на

столбик, к которому цепляют бельевые веревки, и снова замахал лопатой. Толик ему помогал, тоже раскидывал снег, но лопата у него была взрослая, тяжелая, и он устал, остановился передохнуть, обернулся к отцу.

А отец наклонился чуть и так швырял снег, что аж пыль холодная летела по двору. Он метал и метал снег, не разгибаясь, не глядя по сторонам, и побрякивал от удовольствия. Потом остановился, увидел, что Толик на него глядит, подмигнул ему и шапку над головой приподнял, будто снял крышку с кипящей кастрюли: пар от головы клубами валил.

Толик засмеялся, любуясь распаренным отцом, – такой мороз, а ему жарко, – любуясь, как снова, словно рычаг, размеренно и сильно заходила в руках у него лопата, и ему захотелось работать с таким же азартом, как отец. Он замахал своей лопатой, конечно, реже и труднее, чем отец, но тоже побрякивая, – правда, не столько от удовольствия, сколько от тяжести, – но все равно работа шла, над двором летела тонкая снежная пыль, и из этой пыли вдруг вылезли дворовые пацаны с лопатами, и теперь уже не только отец с Толиком кричали, как утки, а будто налетела целая стая.

Площадку расчистили, потом долго таскали в ведрах горячую воду, которая растекалась на площадке стекленеющими лужами, и над ними в тихом морозном воздухе стлался густой туман. Отец таскал по два ведра сразу, потом заложил по краям поля доски, и неплохая наутро вымерзла площадка, настоящая получилась хоккейная коробка, и лед был до-

вольно гладкий. Но играть все-таки ребята любили без коньков, в валенках, чтобы посильней бить шайбу, а то на коньках такого сильного удара не получалось, больше падали и в кровь разбивали колени. Так что в шайбу во дворе играли без коньков, и центром нападения всегда был Толик, хоть и жили в доме ребята постарше его, пятиклассника. Да, играл Толик в нападении, именно центром, потому что только центром, никак не меньше, можно было играть, имея такой великолепный, такой изумительный танкистский шлем, через который не слышны никакие удары. Можно даже клюшкой по голове стукнуть – ничего, выдержит. Не изо всей, конечно, силы.

Словом, то, что Толика выбрали центром нападения, относилось не к его личным заслугам, а к танкистскому шлему и к тому, что это его отец придумал сделать площадку для ребят.

И Толик был благодарен отцу.

4

Когда Толик вернулся с улицы, отец был уже дома, сидел за столом напротив мамы, а баба Шура разливала в тарелки перловый суп.

Мама увидела распаренного Толика в шлеме, сразу нахмурилась.

– Опять гонял, – сказала, – лучше бы дома посидел. Книжку почитал. Или полепил из пластилина, у тебя хорошо получается.

И правда, у Толика из пластилина хорошо получается. Еще во втором классе он бабу-ягу из пластилина слепил. И Наполеона с одним глазом: на втором – черная ленточка, выбили Наполеону глаз на войне. Но это же во втором классе было. А сейчас пятый. Пятый – это-то понять можно?

И потом – совсем разные вещи, когда тебя за Наполеона одна мама хвалит и когда тебя хвалят за отличную шайбу все ребята, вся команда. Совсем другое дело! Тут ты сам для себя. Ну, для мамы еще. А там для целой команды.

Но мама всегда ворчит, когда Толик во дворе шайбу гоняет. Она хочет, чтоб он дома, перед глазами сидел. Отец шевельнулся недовольно – это у них старый спор, нерешенный.

– Надо, чтоб он коллективистом был, – сказал отец.

Что такое коллективист, Толик точно не знал, но отцу кивнул согласно.

– Еще успеет, Петя, – ответила ему мама тихо, но настойчиво.

Толик увидел, как из угла сверлит глазами баба Шура, понял, что это опять мама не свое говорит. Это она бабкины идеи осуществляет, это бабка ей наговорила, чтоб Толик больше дома сидел. Поэтому и настойчивость у мамы в голосе.

«Ну баба Шура!» – злится Толик и смотрит на отца с любовью и с тоской. Смотрит, как отец спорит, горячится.

– Хватит, – сказал отец, распаясь, – что мы с тобой к подолу пришиты. Пусть хоть он среди людей будет.

К чьему это подолу они пришиты, отец не сказал, но Толик понимает, догадывается – к бабкину. Он глядит на бабу Шуру, но та своим делом занята, зашивает что-то, будто это ее и не касается. Будто она и не слышит ничего.

Потом говорит, невзначай как бы:

– Пенсью принесли...

Всякий раз, как она говорит это, отец голову в плечи прячет, а мама быстрее есть начинает. Знают уж, как все дальше будет. Наизусть выучили.

– Н-ндя... – размышляет бабка, лобик морща. – Вот опять за доставку два рубля отдала... Охо-хо-о, жисть та-а...

Это бабка почтальонше за то, что она ей пенсию приносит, двадцать копеек дает. Но никогда баба Шура не скажет – двугривенный, нет. Два рубля, говорит. Это она все по старым деньгам считает. По-старому, когда деньги меняли на

нынешние, двадцать копеек два рубля значили.

Толик был совсем маленьким, когда деньги меняли, это ему бабка все подробно рассказывала. Давно уже тех денег нет в помине, а она все по ним счет ведет.

По тем старым деньгам ей почтальонша шестьсот рублей приносит. А отец получает всего сто. По новым.

Вот и ходит баба Шура, оживленно сандалиями своими шебаршит, половицами скрипит. Большой день сегодня у нее. Шутка ли, пенсия!

Отец и мать ели суп молча, опустив головы, словно ребяташки провинившиеся, а бабка все причитала, все кидала камушки в отцовский огород.

– Н-ддя... Ндя-ндя-ндя... – ныла баба Шура, облокотясь, подбородок в ладошку сложив. В глазах задумчивость и размышление были, будто никого она и не изводила вовсе, а просто так размышляла себе вслух, думу думала.

– Н-дя!.. – гундосила. – Все ж таки нескладно выходит у нас. Я одна шестьсот имею, а вы вдвоем – сто да восемьдесят, сто восемьдесят без вычетов. Н-ндя!..

Отец положил ложку, не доел суп и так папироской задымил, что комната враз синей стала, а табак под красным огоньком от горенья затрещал.

– Петь, а Петя, – баба Шура вдруг удивилась, – а пошто это за партию-то деньги берут, а? Вот вычеты-то?

Голос у нее ласковый, бестолковый, не понимает она будто, хоть ей отец все сто раз объяснял.

– Да не вычеты это, – взорвался отец. Лицо у него покраснело, словно он тяжелое бревно поднимает, а не с бабкой разговаривает. – Не вычеты это, – крикнул он, – а взносы! Я сам плачу, понятно!

– Нью-ю-ю, – запела бабка, нутряным смехом заливаясь, – ишь, добровольно! Скажи кому, глядишь – поверют!

Отец папироску в тарелку ткнул, забежал по комнате, будто заяц загнанный. А мама голову опустила, даже лица не видно. Знают, что все это цветочки, сейчас ягодки будут.

– Не горячись, зятек, не горячись, – бабка отца успокаивает, и лицо у нее уж без ехидцы, серьезное лицо, потому что ведь и разговор дальше серьезный.

– Вишь ли, Петя, зятек дорогой, – бабка говорит. Глаза на клеенку опустила, пальцем по ней водит, стесняется будто и говорить-то про это, такое деликатное дело. – Вишь ли, зятек дорогой, я пенсьонерка, а доходу имею чуть поменее тебя.

Баба Шура глаза от клеенки отрывает, смотрит спокойно, как отец по комнате бегаёт, как мать в пол глядит.

– Ну ясное дело, мои деньги – на похороны, да вам в наследство, как представляюсь... Живем мы на ваши средства, уже после меня пошикуете, ясное дело, но покамест денег мало.

Отец все молчал, крепился. Трещал табак под огоньком, комната, как поле боя, в синих клубках. Отец ходил по комнате, а за ним, как живые, двигались табачные облака.

– Переходи-ка ты, Петя, в цех! В цех, Петя, переходи. –

Бабка вдруг заталдычила. Пальчиком сухоньким отцу в пояс затыкала, глазки ее востренькие заблестели.

И сколько еще будет бабка отца вот так мучить?

Однажды летом Толик видел водоворот. Прошел жуткий ливень – казалось, тяжелая туча, которая нависла над городом, вся, без остатка, пролилась, и по улицам во всю ширину мчались мутные, стремительные речки. Воды было столько, что решетчатые колодцы не успевали ее проглатывать. Над колодцами плескались целые озера, и в том месте, где вода стекала, крутились водовороты.

Они глухо гудели, урчали, будто какие-то прожорливые твари, и вокруг мутных воронок, как в карусели, носились щепки, обрывки газет и всякий мусор. Все это крутилось, словно замороженное урчащей пастью воронки, медленно приближалось к ее краям, потом попадало в середину и исчезало в страшном нутре колодца.

Толик долго стоял тогда возле водоворота, глядел в этот манящий, все проглатывающий круг, и колодец казался ему живым жадным зверем.

С тех пор прошло много времени, но крутящаяся воронка не исчезала из памяти Толика, наоборот, он чаще и чаще вспоминал ее, потому что все, что было дома, напоминало ему ту воронку. Жизнь в их доме крутилась возле денег, всегда возле денег, возле бабкиного бумажника с потертыми углами; и чем дальше, тем глубже засасывал этот денежный круговорот всех их. Мама уже смирилась и крутится в баб-

киной воронке, и только отец сопротивляется, не поддается бабкиным разговорам, не переходит в цех, потому что – это даже Толику ясно – не все меряется деньгами, не все меряется по бабкиному правилу, и интересная, любимая работа важней и дороже всяких денег.

Деньги, деньги, все только о них и толкует баба Шура. Но Толику иногда кажется, что вовсе не деньги бабке нужны, а что-то другое. Непонятно что, но другое, потому что все эти скандалы из-за отцовской работы, из-за его зарплаты лишь половина всех скандалов. Баба Шура у них дома будто острый гвоздь на гладкой доске. Куда ни пойдешь, что ни сделаешь, обязательно за этот гвоздь зацепишься, обдерешься.

Такой уж у бабы Шуры характер.

С виду посмотришь – безобидная старушечка, божий одуванчик. Сухонькая, легонькая – как стручок.

А дойдет до дела – нет человека страшней бабки.

Если обозлится, к примеру, или если что не по ней, не по нутру, баба характер свой – из кожи вон лезет! – выказывает. А характер у бабы Шуры как булыжный камень. Хоть молотком по нему стучи – ничего не добьешься, кроме как молоток железный обобьешь.

Если что там не так, если что ей не подходит, уставится вдруг баба Шура на что-нибудь и глаз не отрывает. С ней говорят, она не отвечает.

Начнет мама пол мыть, баба Шура с места не стронется. Сидит, глядит в одну точку, свернет губы в птичью гузку и

ровно оглохла. Мать ее в такой час боится. Тихо пол возле бабкиных ног аккуратно вымоет, тряпкой ее не коснется. Отойдет потом бабка, встанет, а на мокром полу от нее два сухих следа останутся. И следы эти никогда прямо, как у людей, не стоят. Всегда один в другой уткнется. Будто шел, шел человек и сам о себя споткнулся. И нету ему дальше никакого ходу.

Толик давно заметил, что глаза у бабка, когда она вот так уставится, будто меньше становятся. Не зрачки, а две иголки. Так и колют. Смотрит она, например, в телевизор и ничего не видит, а телевизор глазами прокалывает и стенку за ним тоже. Не моргнет, не шелохнется баба Шура, что там ей по телевизору ни показывают.

Толик пока не понимал, встанет, бывало, перед бабкиными глазами, заговорить с ней хочет, а она и его прокалывает своими иголками. Стал тогда Толик ее обходить. Неприятно как-то, когда сквозь тебя смотрят такими глазами.

Сперва все это Толика не касалось.

Ну не нравится тебе, как баба Шура в фикус глазами уткнулась, час, будто загипнотизированная, сидит, плюнул, натянул валенки и айда во двор. Шайбу гонять с пацанами. Или в войну – тыр-р-р-р! – длинными очередями по врагу строчить из автомата.

Вот тебе и вся баба Шура.

Да ясное дело, не для Толика она и старалась. Отцу с матерью свою власть, свою силу доказывала.

Вот в прошлый праздник, например, собрались отец с мамой в гости, заранее бабушку предупредили. Она все молчала, вроде бы и не возражала, а стали собираться – отец костюм свой любимый надел, не новый, но аккуратный и красивый, в полосочку, мама туфли вытащила блестящие, тряпочкой их от пыли обтерла, чулки натянула красивые, тонкие, сели на один стул обуваться, задурили, как маленькие, тесня друг дружку, засмеялись, а баба Шура вдруг в комод уставилась и замолчала. Смейтесь, стучите, кричите – ей хоть бы хны! Нет ни комода перед бабой Шурой, ни стенки за ним, ни улицы за домом – уставилась баба Шура, глядит куда-то в никуда – и все тут!

Мама заметила первой бабкину перемену, приутихла, опустила голову, будто виновата, что с отцом шутили, засмеялись. А бабушке этого мало. Молчит, сидит недвижно, как сыч на суку, и глазами не моргнет.

Отец вздохнул, стянул галстук с шеи, из угла в угол заходил.

Ходил, ходил, а мама как всегда. Будто пол возле бабких ног моет. Тряпочкой тихонько туфли ее обводит, чтоб встала потом баба Шура, а от нее как ни в чем не бывало сухие следы друг в друга уперлись. Боится мама бабу Шуру, тихонько туфли уже сняла, в шифоньер поставила, чулки отцепляет.

Отец остановился перед ней, опять вздохнул, размял папироску, просыпал табак.

– Ну что ж, – сказал бабе Шуре, а сам на маму поглядел, будто все это не бабке, а ей говорит. – Ну что ж, Александра Васильевна, так нам тут возле вас и сидеть? Мы ведь вроде еще не старики, хочется же в гости сходить к товарищам. Да и обещали, что придем, неудобно...

Мама совсем голову опустила, будто это ее отец ругает. Отец тогда шагнул к маме, по волосам ее, как маленькую, погладил.

– Что же вы, в самом деле, Александра Васильевна, – сказал отец, маму глядя, – вроде бы взрослые мы люди, да вот и Маше тоже развеяться не мешает, а то все дома и дома... Кухня, да полы, да плита...

А баба Шура все сидела не шелохнувшись, словно и не касалось это ее. Словно не с ней отец говорил.

Но отец все ходил, все ходил, курил, пуская яростно дым, и говорил ровно, спокойно. И Толику показалось, что отец все это вовсе и не бабе Шуре говорит. И не маме. Неизвестно кому говорит отец, наверное, даже никому. Просто так он все это говорит, лишь бы не молчать, лишь бы сказать хоть что-нибудь. Будто себя уговаривает. Будто успокаивает себя.

Ровно говорил отец, как некоторые учителя на уроке, и все одно и то же повторял. Потом глаза у него потухли, как папироска, и он уже не говорил, а под нос себе бормотал. А баба Шура молчала. Молчала – и все тут, хоть лопни!

Только уж ночью, когда все легли спать и успокоились окончательно, баба Шура принялась на диване ворочаться,

пружинами ржавыми скрипеть. Это значит, не все еще. Еще не сказано, значит, сегодня последнее слово, и хоть говорил отец целый вечер – сперва распался, потом тихо, под нос бурча, – не за ним все-таки последнее слово, нет. За бабкой Шурой.

Поскрипит пружинами бабка, поворочается с боку на бок, будто председатель на собрании колокольчиком позвонит, и скажет свое последнее слово:

– Промежду прочим, я вам мама, а не Александра Васильевна!..

Это она отцу говорит. И лучше уж отцу промолчать, потому что иначе баба Шура и завтра говорить не станет. Просидит целый день, уставившись в одну точку, и обед не приготовит, и весь вечер снова испортит.

Промолчит отец, неизвестно о чем думая, а уж мама и во все ничего не скажет.

Словно ничего они не слышали.

Только бы с бабкой не спорить.

Толик сначала думал, бабка с отцом из-за бога поладить не могут. Думал, баба Шура отцу ту историю все простить не может – с иконой, которая в углу у нее висит. Не может забыть, как отец ту икону скинуть хотел.

Баба Шура в бога верит. Сколько раз в день у иконы своей остановится, губами пошевелит, покрестится. И помогала икона бабке, Толик своими глазами сто раз видел, как помогала.

Очень это просто, оказывается. Сидят они, например, вечером, когда по телевизору кино показывают, которое детям до шестнадцати лет смотреть нельзя. Сидят, сидят, и Толик сидит, чего же делать? Комната у них одна, и мама говорит, что не закрывать же ему глаза. Конечно, не закрывать! Да если и закрыть, завязать глаза даже шарфом, не поможет же! Ушами-то все Толик слышит. А раз слышит, можно и не глядеть – все равно все понятно. И между прочим, ничего еще такого страшного в этих кино не показывали, бояться нечего. Так вот сидят они, сидят, смотрят кино, и как дойдет, что там какая-нибудь красивая тетенька платье снимать начнет, раздеваться, – вот тут икона и начинает действовать!

Отвернется баба Шура от телевизора, поищет глазами в темноте угол, где икона висит, перекрестится быстренько, и все! Дальше телевизор смотрит. Пока крестилась, уже другое

показывают.

Так что икона ей помогала, и Толик, понятное дело, думал, что баба Шура на самом деле в бога верит.

Это, конечно, интересно было – как в бога верят.

Хорошо ведь – попало тебе что-нибудь неприятное, ты перемолился одной рукой, и все в порядке! Всякие неприятности: с глаз долой – из сердца вон, как баба Шура говорит. Только вот надо научиться, как рукой водить.

Толик совсем пацан был, в первый класс ходил, когда этот скандал случился. Сейчас-то он понимает, какой глупый тогда оказался, но что поделаешь, ведь раньше Толик к бабе Шуре хорошо относился. Даже любил ее, хотя и неизвестно за что. Верил ей.

Так вот, начала баба Шура однажды перед иконой молиться, а Толик за спину ей встал, приподнялся на цыпочки, принялся вслед за ней креститься. Бабка обернулась, увидела, что Толик тоже крестится, вдруг носом всхлипнула. Приступала мелко-мелко к Толику, с костяных коленок не поднимаясь, и обняла его.

– Внучо-ок! – сказала протяжно. – Золотко!

И стала Толику показывать, как правильно надо в бога верить. Не в живот сначала, а в лоб пальцами тыкать, и плечи не путать – сперва в правое, потом в левое. И пальцы щепоткой сложить, будто соль взять собрался. А раньше всего на коленки стать для уважения к богу. Но вообще-то можно и так, на ногах, если некогда.

Они стояли на коленках перед иконой – баба Шура и возле нее Толик, и тут неожиданно открылась дверь. Никогда в жизни не видел Толик отца испуганным – и вдруг увидел: отец стоял на пороге, приоткрыв рот, хлопая глазами, подняв брови домиком. Из-за его плеча выглядывала мама, бледная, будто три раза подряд напудренная.

Отец постоял, помолчал, потом шагнул в комнату, и лицо у него сразу стало маковым. И опять он другим стал. Раньше бабка упрется взглядом в угол, так отец ходит по комнате нерешительно, только говорит, сам себя уговаривает. А тут вдруг как гаркнет:

– Ну-ка, мамаша, снимай свою иконку! Да моли бога, что я твой родственник!

Баба Шура поднялась с коленок, промокнула пуховым платком острый носик. Толик отцовского крика испугался, думал, и баба Шура испугается, снимет из угла икону, а она, будто ничего не случилось, мимо отца прошаркала, словно и не заметила его, словно и не кричал он только что, и удивленно сказала маме голосом скрипучим, таким, будто кто-то сухую доску раздирает – разодрать не может:

– Маш, а Маш? А пошто же это мы Толика-то не окрестили?

Мама все стояла в дверях, только еще бледней стала. А бабка, ничего не замечая, талдычила свое.

– Не-ет, – мотала она головой, – окрестить надо, а то вон нехристи-то какие ноне... Орут! Голос подают! А коммуни-

сты еще! Ну да ладно, окрестить не поздно...

Толик думал, отец все-таки скинет бабкину икону – он прямо ринулся в угол. Но бабка, которая вроде бы и не видела отца и речи свои говорила маме, вдруг мгновенно повернулась, кинулась наперерез отцу и в тот миг, когда он протянул руку, чтобы достать до иконы, вцепилась в него.

Отец остановился, опешил, не зная, что делать, как быть с бабкой, которая вцепилась в него, рванулся было опять к иконе, и в эту минуту ожила мама. Она кинулась к отцу – Толик думал на подмогу, – но нет, мама тоже, как бабка, схватила его за руку.

– Не надо, Петя, не надо, – заговорила она сквозь слезы. – Милый Петя, не надо!

Отец обернулся.

Бабка отступила на шаг и глядела теперь на него.

Хоть и прошло уже много лет с тех пор, а как наяву видит Толик ту минуту: отец и бабка стоят друг против друга, будто на дуэли.

Отец – высокий, ладный, плечи широченные, никак Толик за плечи обхватить его не может. А бабка – щупленькая, сухонькая, будто стручок. Ну какая тут дуэль?

Но нет, не так-то просто.

Не всегда тот, кто сильнее, побеждает.

Не страшная баба Шура, не ловкая, не хитрая. Самая что ни на есть обыкновенная старушка. Кофта на ней вязаная, серая, серая юбка и платок пуховый тоже серого цвета. Но-

сик острый торчит из платка, как птичий клюв. Вот глаза только.

Как посмотрит баба Шура на человека – не просто так посмотрит, а со злостью, – не то что проколет иголками – пробурует, просверлит, будто в самое нутро тебе заглянет. И оттого, что заглянет в самое нутро баба Шура, нехорошо в тебя заглянет, с тайным каким-то смыслом, сердце у человека зайдется, и он отступит на шаг.

А отступив, увидит, как вырастает вдруг баба Шура.

Маленькая, сухая, а вот уже всю комнату заняла. Никого больше тут нет – одна она все заполонила, и нет человеку здесь места. Вон, вон от нее! Вон из комнаты, где дышать нечем!

Посмотрела тогда вот так баба Шура на Толикиного отца, в самое нутро, наверное, ему заглянула и сказала негромко, будто нехотя:

– Слышь-ка, сродственник бесштанной! Ты тутока на меня не гавкай, не ори. В своем доме хозяйствуй, а здесь ты сам по билету. Почитай, как на постоялом дворе.

Только что отец красный был, а тут позеленел. Шарик на лице закатался, будто он под щекой конфеты круглые держал. Отец отступил на шаг от бабки, а потом в коридор вышел. Дверью хлопнул так, что под обоями словно мыши зашуршали – штукатурка посыпалась.

Мама на сундук, где всякое старье лежит, опустилась, заплакала.

Толику страшно сделалось, ведь он тогда еще совсем пацан был, в первый класс ходил. Он к маме пришел, прижался к ней. Мама Толика обняла.

А тут баба Шура тенью над ними нависла. Серая вся, как ворона. Каркнула:

– Ты-кошь скажи своему соколику, опамятуй его и сама не забудь. Я – слышь! – я тутошная хозяйка!

Сказать бы тогда маме свое слово бабе Шуре. Сказать бы, что любит она отца и отец ее любит и что есть у них Толик, сын, сказать бы маме, чтоб перестала баба Шура тут всем править, но она промолчала. Заплакала только. А когда проплакалась, включили они телевизор, и Толик смотрел кино, которое не разрешается глядеть детям до шестнадцати лет.

Кино было скучное, только изредка тетеньки там раздевались, и бабка опять крестилась, глядя в темный угол. Свет от телевизора делал синим ее лицо, и Толику было страшно, когда она закатывала глаза с синими белками.

Мама сидела тихая, как прибитая, и смотрела в телевизор слепыми глазами.

Поздно вечером пришел отец.

Он был тихий-тихий.

Снял ботинки у входа и на цыпочках к кровати прошел. Когда он мимо Толика проходил, вином почему-то запахло.

Мама погасила свет, и баба Шура заворочалась на своем диване, запищала пружинами. Потом не пружинами, голосом заскрипела, сказала неизвестно кому:

– И между тем дите само заинтересованность проявляет.
Точку поставила.

Мама насухо протерла посуду, отец закурил уже десятую, наверное, папиросу и включил телевизор.

Удобная, оказывается, штука – телевизор! Не потому, что, не сходя с места, и кино поглядеть можно, и как в хоккей наши с иностранной командой играют, и все новости тут же узнать – не только поэтому удобная вещь телевизор. Он еще молчать помогает.

Забились все по своим углам, молчат, словечка не обронят. Посмотришь со стороны – люди внимательно передачу смотрят, а в самом-то деле скандал дома. Бабка стену глазами сверлит, на своем стоит: чтоб шел отец работать в цех. Мама возле ее локотка устроилась – боится с отцом говорить, чтоб эту домашнюю владычицу не сердить. Отец тяжело молчит. Все курит. Все мучается.

На лбу у отца морщина залегла, будто кто топором сделал на березовом стволе отметину. Не улыбнется отец, не засмеется. Не скажет слова.

Раньше, бывало, нет-нет да и объединятся мама с отцом, хоть шепотом да восстанут против бабки.

Сядут у телевизора, позади бабы Шуры, чтоб не видела она их, обнимутся и шепотом говорят. Говорят, говорят!.. Потом тихонько засмеются. Толик улыбается, смотрит тайно на маму и отца, как они в трюмо отражаются. Потом надоест

ему в зеркало на них смотреть, перетащит Толик свой стул, сядет между мамой и отцом, и они втроем шепчутся, смеются втроем. И кажется Толику, что не шепотом они говорят, а громко, что смеются они весело, хохочут во все горло.

Обернется на них баба Шура, увидит, что отец с матерью и с Толиком обнявшись сидят, носик свой востренький так и отдернет, будто им обо что-нибудь горячее обожглась.

Но давно уже не сидели они втроем обнявшись, давно не восставали мама с отцом против бабки. И тут баба Шура победу над отцом одержала.

С иконой своей победила – не тронул отец икону, с деньгами победила – выдает отцу по полтиннику, а теперь еще раз верх одержала: боится мама к отцу подойти, чтобы, не дай бог, не обидеть бабу Шуру.

Одну оставалось победу одержать бабке. Одну. Последнюю. Чтобы отец в цех из-за денег перешел. Все тогда будет под бабкиной пятой, под бабкиным игом!

Толик глядел в телевизор, слушал краем уха, как последние известия передают, а сам про маму думал.

Вот бабка на отца насаждает, отец от нее отбивается: то закричит, то уйдет из дому, а вернется выпившим. Вроде идет между отцом и бабкой тихая драка – без кулаков, без крови из носу, но пострашней. Крепкий, сильный отец перед тщедушной бабкой отступает. И во всей этой драке Толику лишь одно непонятно – а мама? Как же мама? Почему она молчит? Почему она всегда бабкину сторону держит? Почему слуша-

ет ее во всем, словно рабыня? Понятно: мама бабе Шуре родная дочь и должна, конечно, ее слушаться, но ведь не так же! Не так, чтоб дома как в больнице было. Тишина, муха пролетит – слышно. Молчат все как сычи, а заговорят – сразу дым коромыслом, сразу спор и крик.

Эх, да что за жизнь такая!

Тоскливо Толику дома, тяжело, душно. Вот сбегал во двор, покидал шайбу в танкистском шлеме – и будто сил набрался, а вернулся домой, посидел час, послушал бабкины разговоры, видел снова, как отец мучается, – и опять тоскливо ему.

Толик в зверинец летом ходил. Весело там было, смешно. Особенно на мартышек разных смотреть забавно, как они дураят и забавляются. У клетки с мартышками всегда ребята толкуются, но Толику эти глупости быстро надоедают, и он к медведям идет. Медведи теперь в любом зверинце, в любом зоопарке есть, народ все больше у тигров толпится, у леопардов, у львов или вот у мартышек, а возле медведей всегда пусто. Ходят медведи по клетке из угла в угол или топчутся на месте, тоскливо в стороны поглядывая, ничего хорошего больше не ожидая, с тоской вспоминая тайгу. Толкуются, толкуются, бродят по клетке, куда себя деть, не знают.

Вот и дома у Толика теперь так же. Толчется он по комнате, не знает, куда деть себя. Как медведь в клетке. Ни поговорить не с кем, ни посмеяться.

Будто не с людьми он в комнате сидит, а с чучелами. С

пустыми местами. Есть такое выражение. Очень хочется тогда ему к маме подойти или к отцу, а еще пуще к бабе Шууре, дернуть ее, во всем виновную, за рукав и крикнуть. Зло крикнуть, до слез:

– Эй, ты, пустое место!

Но они сидят как пни, и Толик моргает синими мамиными глазами, морщит редкие конопушки на носу и молчит, как взрослый.

Понимает он, что криком тут никак не поможешь.

И хоть знает Толик, что думать так нехорошо, неправильно, что нельзя так думать детям о взрослых, да еще о родных, – думает он о том, что хорошо бы баба Шура куда-нибудь сгинула. Уехала бы, например, в командировку, хотя, ясное дело, какая ей командировка может быть? Ну, не в командировку – уехала бы вообще, ну куда-нибудь, хоть к черту на кулички. И стали бы жить они втроем – Толик, мама и папа.

И стали бы телевизор смотреть обнявшись. И не шептались бы больше, боясь бабке не угодить, а говорили вслух, громко, как хозяевам говорить полагается. И не считала бы мама каждую копейку. И отца бы деньгами никто не корил.

Но Толик отлично знает – никуда не денется бабка. Засела она тут прочно, как заноза, и никак ее не вытащишь, никуда она не уедет, потому что, по бабы Шуриному мнению, не она здесь лишняя, а все они – и Толик, и отец, и мама: ведь это бабка их всех троих тут приютила.

«Подумаешь, приютила! – думает Толик. – Нужен этот приют! Можно уехать, в конце концов. Снять комнату где-нибудь, пока отцу на работе не дадут. Или в другой город уехать».

Толик задумался. Не раз и не два говорил про это отец, но мама – ни в какую! Как вот тут поймешь маму – сама ведь она мучается от такой жизни, а что-нибудь переменить боится. Всего боится – в другой город уехать, на другую квартиру, бабки боится, и Толик уж думает: может, она от рождения такая, мама? Что только при бабке и может жить как приложение?

Кончились передачи по телевизору, отец щелкнул выключателем, и все молча стали ложиться спать. Толик разделся, лег на свою раскладушку и подумал, что так и не запомнил, какие передачи сегодня показывали.

Он вздохнул, покрутил головой, делая ямку в подушке, чтобы удобней спать, и вдруг вспомнил вчерашний сон.

«Никак к беде», – сказала бабка, домашняя пророчица, и, хоть беды никакой не случилось, а даже наоборот, получил Толик четверку по алгебре, там, внутри, где сердце, было пусто и тяжело.

Как если бы пришла беда...

У Изольды Павловны, классной руководительницы, было такое правило: раз в две недели водить всех в кино. Какой фильм – все равно, лишь бы организовано. Гривенники на билеты собирали заранее, и Толику в кино ходить не всегда удавалось, потому что бабка на кино деньги выдавала со скрипом, приговаривая, что есть телевизор и нечего еще в кино шляться. Но тут уж вмешивалась мама, тут она почему-то говорила отцовские слова, что Толик должен быть коллективистом, и бабка, хоть и не всегда, сдавалась.

На другой день после бабы Шуриных предсказаний Толик пошел в обязательном порядке в кино. Фильм был ничего себе, про войну, и там много стреляли, но, странное дело, когда Толик вышел из зала, все, что показывали, сразу забылось.

Ребята хвалили картину, другим она понравилась, особенно Цыпе, который вообще любил все военное, а Толик молчал, чтоб зря не спорить. Кому-то там нравится, а ему нет – что поделаешь, у каждого свои вкусы. На углу он вышел из пары – Изольда Павловна всегда их водила парами – и отпросился домой, потому что ему пора было сворачивать. Изольда Павловна кивнула, она любила порядок, и Толик пошел домой.

На улице уже стемнело, все-таки зима, и теперь темнеет

раньше, а может быть, это только казалось из-за низких-низких туч.

Толик загляделся на тучи, они были какие-то странные сегодня. Одна – серая, грязная, как половая тряпка, – ползла вперед, а другая уже не ползла, а неслась ей навстречу, как будто машина разогналась. Вот-вот столкнутся. Но тучи не столкнулись. Они летели стаями друг над другом, будто волшебные птицы, серые и злые.

Толик шел, задрав голову вверх, и вдруг совсем неожиданно услышал знакомые голоса. Он огляделся и увидел прямо перед собой, в каких-нибудь пяти шагах, маму и отца. Они шли впереди него.

Толик обрадовался, решил подкрасться к ним незаметно, а потом броситься сзади, зарычать.

Так и сделал. Подкрался. След в след за ними пошел и совсем уже приготовился прыгнуть, как вдруг услышал, что отец маме встревоженно сказал:

– Ну хорошо, сегодня я уступлю, а завтра что будет? Да разве не видишь ты, что так жить нельзя?

Толик ничего не понял, налетел, зарычал, как тигр, думал, отец и мама обрадуются, но они только вздрогнули и посмотрели на Толика чужими глазами.

– Откуда ты взялся? – спросила мама, хотя отлично знала, что весь класс идет сегодня в кино, и добавила, не дождав-шись ответа: – Иди, мы скоро придем.

Они повернулись, пошли дальше по улице, и у Толика да-

же запершило в горле – так стало ему обидно. Отец и мать будто и не заметили, что Толик к ним подходил. Глаза у обоих словно пустые, о чем-то там своим думают.

Толик двинулся к дому и вдруг вспомнил, как несколько дней назад забежал он домой со двора – воды напиться. Мама и отец молчат теперь всегда, а тут сидели рядышком. Толик вошел, мама замолчала на полуслове, отвернулась, стала сморкаться и глаза вытирать, а отец папироску в руке крутил – табак из нее сыпался. Пока Толик с графином возился, воду наливал, мама ни к селу ни к городу сказала, что пахнет чем-то, что, наверное, опять соседка тетя Поля сплывила молоко на кухне, и вышла в коридор.

Толик пил воду, косился сквозь стакан на отца. Тот смотрел, уставившись, как бабка, в одну точку, о чем-то думал напряженно и не услышал, когда Толик спросил, где баба Шура. Пришлось повторить громко. Отец встрепенулся, ответил, что ушла в магазин. Толик вышел в коридор, приняхался. Горелым молоком не пахло.

Значит, выдумала мама. Просто так сказала, чтоб из комнаты выйти.

Тогда Толик это просто заметил, а сейчас, когда отец с матерью его от себя прогнали, вдруг все понял.

Вон оно, значит, что...

Обида Толикина разом пропала. Да и какая может быть обида, если тут такое творится!

Ах, мама, мама! Кончилось, значит, твое молчание. И ты

вместе с бабушкой против отца!

Все-все понял Толик. И тогда, когда вечером сидели они вдвоем у стола и мама плакала даже, и вот теперь, там, на темной улице, над которой летают злые облака, мама отца уговаривает не победить, а сдаться. Сдаться уговаривает на бабушкину милость. Еще раз, в последний, может, бабушке уступить – уйти из конструкторов в цех, деньги заколачивать...

Толик пришел домой словно побитый, даже бабушка Шура заметила – не ворчала, как всегда.

Толик забрался с ногами на диван, стал разглядывать сто раз виденный старый журнал, размышляя об этих деньгах. Что, в самом деле, нельзя прожить на эти? Ну трудно, может быть, наверное очень трудно, сто отцовских да восемьдесят маминых не так уж, говорят, много. Но ведь отец и премии каждый месяц приносит. И бабушка пенсию получает. Если все сложить, разве мало? Толик знает, что премии и пенсию бабушка тратить не дает, прячет, копит неизвестно куда.

Стукнула дверь, пришла мама. Толик поглядел на нее вопросительно, но мама не видела ничего перед собой. Глаза ее на стекляшки походили, на пустые стекляшки.

– Ну? – строго спросила бабушка, но даже ей мама ничего не ответила, разделась, медленно, словно загипнотизированная, села на стул.

Бабушка Шура шебаршила тапками по полу, постукивала кастрюлями, все молчали, и Толику показалось неожиданно, что мама и бабушка чего-то ждут. Каких-то известий.

За окном вечерело. Какой-то человек выступал по телевизору, но бабка прикрутила звук, и человек смешно размахивал руками и молча открывал рот. Бабка уселась, и они все трое бессмысленно глядели на него человека, и каждый думал о своем, и никому в голову не приходило подняться и включить звук.

Вдруг громко хлопнула дверь, и в комнату, держа бутылку, быстро вошел отец.

Толик посмотрел на него и сразу понял, что случилось неладное. Глаза у отца поблескивали, а руки вздрагивали. Он подошел к столу, подержал на весу бутылку с водкой и вдруг изо всей силы трахнул ею об стол. Будто выстрелил. Пробка вылетела из горлышка, бабка вздрогнула, а мама побледнела.

– Ну, – сказал отец, глядя на бабу Шуру. – Радуйся, ваше благородие! Перешел по вашей милости в цех на оклад – сто тридцать плюс премиальные.

И, как был, в пальто и в шапке сел к столу, придвинул к себе стакан.

Толик посмотрел на маму, перевел взгляд на бабушку и чуть не заплакал. Вот они чего, значит, ждали! Ну, добились?

Баба Шура вздернула сухонький носик, от страха отошла, набрала степенности и довольная такая стала. Мама тоже порозовела, улыбнулась.

– Нню-ню, зятек, – запела бабка, – удоволил ты меня... Давай чокнемся.

Зашуршала тапками к буфету, принесла себе и маме рюмки. Отец, так и не раздеваясь, всем плеснул. Выпил свое махом, снова налил, посмотрел на Толика.

Поймал Толик отцовский взгляд – и страшно ему стало. Никогда он таким отца не видел. Большой человек, из расстегнутого ворота ключицы видны – как весла, сожмет отец руку, под кожей мышцы словно бильярдные шары ходят, а взглянул вот сейчас – глаза больные и будто зовут. На помощь зовут, будто страшно человеку, будто раненный он смертельно.

Толик к отцу подошел, прижался к нему. Увидел, как жилка на виске у отца бьется, синей гармошкой выпирает. И сердце в отце ухаёт – как молот по наковальне: ух, ух, ух!

Эх, люди, люди, а еще взрослые! Эх ты, мама!.. Сидишь улыбаешься, порозовела вся, радуешься, что снова в доме лад и удовольствие, и отец – вот он, перед тобой, а сама его не видишь!

А ведь как просто все! Вот пришел к отцу Толик, прислонился – и сразу все услышал. Сразу понял, как волнуется отец. Как гулко сердце в нем грохочет. Как трудно ему, как тяжело...

Плеснул еще отец водки в стакан, влил в себя, не морщась, ничем не заедая, и вспомнил вдруг Толик, как пьяных на улице видел. Идешь, а в снегу человек лежит. Да какой человек – скотина. Мычит, глазами бессмысленно водит, встать хочет – не может. Таких Толик стороной обходил

брезгливо. Глядя на них, об отце никогда не думал, потому что отец таким оказаться не мог. Не мог!..

Бывало, выпивал он раньше, сейчас, от бабкиной жизни, выпивал чаще и крепче, но чтобы так, как эти, такого никогда не было. Толик подумал: а вдруг будет? Вот теперь? Сейчас?

Он прижался к отцу, услышал снова биение его сердца, попросил:

– Не надо, пап, не надо!

Отец повернулся к нему. Глаза у него по-прежнему были трезвые и больные.

– Не надо? – спросил он и кивнул. – Не надо!

– Пойдем погуляем, – сказал Толик, – пойдем подышим.

– Подышим! – сказал отец, поднимаясь и пьяно пошатываясь. – Пойдем подышим, а то тут дышать нечем! Духота! Африка!

Мама поднялась, так ничего не понимая, шагнула к отцу, на цыпочки приподнялась, поцеловала. Похвалила будто: мол, молодец, послушница!

Пьяненькая бабка за столом, как в президиуме, встала, с полной рюмкой, довольная, глазками блестя.

– Зятек! – крикнула. – Зятек! Ты пойми: жить-та трудна. Вот помру, погуляете, все ж наследство, а теперь живот подопрем!

Отец шатнулся.

– Провалитесь вы, Александра Васильевна, со своим на-

следствием! – рывкнул.

Но бабка не осерчала, засмеялась дребезжащим смехом. Пришла к отцу целоваться. Он не отстранился, нет, ее поцеловал, тут же, правда, отвернувшись, на пол плюнул. И плюнул, и заругался отец зло, отчаянно даже как-то, будто хоть сейчас, хоть вот этим, хоть после времени и впустую, хотел бабке отомстить.

– Мама, мамаша я тебе, Петя, я не Ляксандра Васильевна, – смеялась бабка, хохотала, прямо покатывалась.

Толик глядел на бабу Шуру и все никак не мог взять в толк, чего она веселится. Хотя ведь у нее не как у всех. Она веселится, когда плакать надо.

Вон отец какой. И прямо стоит, а согнутый. Большой, а под бабкой.

Толика вдруг осенило: да нет, выходит, правильно бабка веселится. Это она победу свою над отцом празднует. Мать всегда у нее под властью была, всегда в рабынях у нее ходила, а теперь и отец.

Они вывалились в коридор шумной оравой, и Толик поддерживал отца, а за спиной смеялась бабкиным смехом подвыпившая мама, и баба Шура тоже что-то кудахтала им вслед. Толик торопился пройти коридор поскорее, чтоб никого не встретить, и радовался теперь, что у них такой темный от мутных редких лампочек коридор. Лампочки в коридоре вкручены маленькие, посмотришь на нее – волосок желтым червячком извивается. Раньше этих червячков То-

лик не любил, а теперь радовался. У самой двери им встрети-
лась тетя Поля, соседка, и Толик снова обрадовался мра-
ку: он покраснел перед тетей Полей. Пьяного отца Толик не
стыдился, ему почему-то было стыдно, что за спиной смеют-
ся мама и бабка. Толик тихо поздоровался с тетей Полей, и
она ответила больным голосом:

– Здравствуй, Толик.

На пороге он обернулся. Мама и бабка махали им от сво-
их дверей, а тетя Поля, худая, как доска, стояла посреди ко-
ридора и жалостливо покачивала головой.

Дверь хлопнула, будто отпустила Толикин стыд, и они по-
шли по вечернему двору, холодному и тихому, вышли за во-
рота и сели на лавочку, смахнув снег.

Отец откинул голову, прикрыл глаза – сел человек и на
минуту о чем-то призадумался.

Потом открыл глаза и посмотрел на Толика.

– Нет, – сказал вдруг отец тихо. – Нет, Толик, это не
жизнь.

Он встал, протрезвев разом, будто и не пил совсем водку,
легко подхватил Толика, поставил его на лавочку, так что
стали они вровень, одного как бы росту.

– А я знаешь, какой жизни хочу? – сказал отец, вгляды-
ваясь в Толика. – Я хочу, понимаешь, чтоб дышалось всегда
вольно, и чтоб ходилось легко, и работалось весело.

Он задумался, нахмурил лоб, будто что-то вспомнил. По-
том улыбнулся.

– Вот, знаешь, летом – идешь по проселку босой, и ноги в мягкой пыли утопают. Приятно! А вокруг светло, солнечно и лес рядом – словно живой, птицы поют. И воздух такой чистый, свежий такой – так и кажется, не воздух, а ключевая вода в тебя льется. И душа у тебя свободная, вольная. Понимаешь, как я жизнь себе представляю?

Толик подумал о проселке с пыльными сугробами, представил птичий лес и чистый воздух ощутил. Как ясно сказал отец! Как хорошо! Как было бы здорово жить вот так, словно по лесной дороге идти – просторной и чистой.

Толик обнял отца за шею. Прижался к нему.

Потом отстранился и головой ему решительно кивнул.

Часто-часто вспоминает Толик все это.

И утихший двор, и хруст снега под ногами – будто кто яблоко громко раскусывает, и лавочку у ворот.

Напротив, в палисаднике у соседей, светились закуржавелые деревья, облепленные снежным пухом. Одинокая лампочка на столбе выхватывала из темноты ветви, похожие на белые руки, и они тянулись, тянулись к отцу, будто сто бабок зарплату от него требовали.

Но лучше всего помнит Толик, как отец, будто пушинку, подхватил его и вровень с собой на скамейку поставил. Как глаза их сравнялись. И как сказал отец Толику, словно взрослому.

– Нет, – сказал он. – Толик, это не жизнь. Не так человек жить должен...

И прежде любил Толик отца, хоть куда за ним пойти был готов, а с того вечера, когда тряхнул решительно головой, с отцом соглашаясь, как надо жить, вдруг пронзительно понял, что ведь один, совсем один отец в доме, – с того вечера стал Толик самым преданным другом отцу.

Как подползает стрелка к сроку, Толик одевается и, бабкиных разговоров не слушая, идет к заводу, навстречу отцу. Они друг друга издали узнают. Толик к отцу бежит, а отец шаги ускоряет, улыбается. Потом рядом идут, говорят о

всяких пустяках или даже просто молчат, а у Толика внутри разливается какое-то тепло.

Иногда он отстает чуток и смотрит на отца сзади, на его широкую, чуть сутулую спину в грязной рабочей телогрейке, а потом, забежав вперед, украдкой взглядывает на его лицо – простое, доброе лицо, на две морщины, идущие от носа к уголкам губ, на усталые глаза, задумчивые и невеселые.

И так Толику жаль отца в эти мгновения, так щемит его сердце, так болезненно любит он этого высокого человека, удивительно близкого и родного, что щиплет у Толика в носу и хочется ему плакать.

Но Толик, конечно, не плачет, они говорят о каких-нибудь пустяках или молчат, и Толику очень хорошо живется в эти минуты. Будто идут они с отцом по жаркому летнему проселку, и воздух вокруг чист, как родниковая вода, и легко на душе, и нет никаких на свете баб Шур, никаких зарплат и никаких печалей.

Но, улыбаясь Толику, отец хмурится про себя, брови его смыкаются в прямую линию. Ни разу не сказал он Толику, отчего так хмурится, а Толик и так знает: конечно, из-за работы. Мучается отец, что ушел из конструкторского, что променял любимую работу на деньги – не устоял перед бабкой и мамой. Ведь, наверное, узел, который ему спроектировать нужно было, теперь чертит другой человек, а кто знает, может, отец сделал бы лучше и от этого заводу пользы было бы больше. А про самого отца и говорить нечего. Ему ведь

такой узел впервые доверили, он сначала согласился, обрадовался, а потом будто струсил – в цех перешел.

Они идут рядом, и отец вздыхает. Толик понимает, прекрасно понимает, почему вздыхает отец. Да и дома еще такое. Один Толик у отца, мама теперь не в счет – она за бабу.

Наверное, и любит мама отца, но что толку от такой любви! Ведь вовсе не любовь это, если поразмыслить-то, а молчанье, да нет, хуже – предательство.

Ведь как дружат люди? Если ты друг – защищай своего друга, это ясно каждому, даже вон у мальчишек такой закон. А какой же мама теперь друг отцу, если против бабу слова сказать не может, если отца никогда не защищает – только слезы из нее катятся! Наверное, и не любит она его, раз так?..

Вот и выходит – один отец. Толик, конечно, за него, но ведь ему мало одного Толика. Ему взрослый товарищ нужен. Мама ему нужна.

«Да, – думает Толик, – тяжело отцу. И что же дальше-то будет? Неужели так все и останется? Неужели победила баба Шура отца?»

А дома все по-прежнему. Бабу только день и радовалась, что отец взял да и уступил ей – в цех перешел. Словно совсем не этого ждала она.

Не этого, а чего?

Они входят домой вместе – сначала отец, за ним Толик. Увидев их, бабу отворачивается, недовольная, что Толик ее не послушал, отца встречал, а мама хлопотать начинает.

Отец приходит с работы голодный и грязный, и она подает тазик с теплой водой, чистое полотенце, улыбается, радуясь, что вот, слава богу, вроде налаживается все в доме. Но баба Шура молчит. Только взглянет искоса, как вода в тазике грязной становится, и скажет вдруг:

– Ну грязизиши-то нанес!

Отец молчит, криво усмехается. Потом все-таки ответит, ей подражая:

– А как же, уважаемая императрица Ляксандра Васильевна, денежки даром не даются.

Бабка будто не слышит, будто это ее не касается, мимо ушей пронесло. Нечего ей ответить. Получила ведь чего хотела. Но все равно недовольна бабка. Все носиком вострым поводит, будто приноравливается, куда еще отца клюнуть.

Но все вышло по-другому.

Совсем.

В тот вечер, едва Толик увидел отца, встречая его у завода, он сразу понял, что произошла какая-то важная перемена. Что-то случилось.

Отец шел размашисто, широко, и голову прямо держал, и не сутулился совсем, как обычно, а увидев Толика, ему не улыбнулся, кивнул только, как взрослому, обнял его за плечи, и они быстро пошли к дому.

У порога их встретила мама, уже с тазиком в руках. Отец быстро разделся, окунул руки в воду и стал медленно намыливать их, медленно-медленно, будто собираясь с мыслями. Толик приглядывался к нему, отчего-то волнуясь, и то, что отец, неожиданно стремительный и резкий сегодня, вдруг снова стал вялым и тихим, бросилось в глаза. Толик внимательно смотрел, как отец, тщательно прополоскав руки, вытер их, потом, оставив полотенце, не спеша шагнул к столу и вдруг позвал громко и требовательно:

– Маша!

Сердце у Толика колыхнулось.

Отец стоял спиной к Толику, его лица не было видно, но по спине, сутулившейся больше, чем обычно, по тому, как решительно и тревожно позвал отец маму, Толик понял, что сейчас опять будет что-то тяжелое, и напрягся, как струна, сжался в комочек, глядя на бабушку и маму.

Бабка и мама смотрели на отца, и Толик хорошо видел их лица. Они походили на зеркала, в которых отражался отец. Почувствовав, как и Толик, тревогу и волнение в его голосе, баба Шура напряглась тоже, но напряжение ее было другое, не как у Толика. Она стала словно каменной, лицо ее теперь походило на маску – есть такие маски, их в Новый год напяливают, только там все маски смеются – у всех на лицах застывший смех, – а тут маска была мрачная, и еще на ней изображались независимость. Мол, чего там ни говори, а я все лучше тебя знаю. Все одно, последнее слово за мной! Мама же нет – она теперь волновалась, ее лицо вздрагивало, ждало.

– Маша, – сказал отец. – Я получил зарплату.

Он сунул руку в карман и вытащил деньги.

У Толика отлегло немного; он подумал, что отец волновался из-за этого, ведь он первый раз на новом месте зарплату получил. Дрогнула бабкина маска, расплываясь не в улыбке, а в какой-то неясной гримасе, вздохнула мама.

– Здесь, конечно, побольше, – сказал отец, – чем было раньше. Но я...

Он не договорил, будто поперхнулся. Толик видел, как сжимался и разжимался его кулак с силой и хрустом. Отец прокашлялся и начал снова.

– Но я прошу тебя, – сказал он, – распорядиться деньгами самой.

Толик увидел, как, не успев снова стать независимой, при-

открыла рот баба Шура, как медленно побледнела мама. Да, наверное, если глядеть со стороны, и у самого Толика вытянулось от удивления лицо. Еще бы, отец сказал такое... ну такое, прямо – революция в их семейных делах!

– Да, да, – сказал отец, переступая с ноги на ногу. – И не надо так смотреть на меня, Александра Васильевна. В конце концов, мы работаем оба... И имеем право...

Отец волновался и не договаривал слова.

Бабка, спохватившись, захлопнула рот, поджала губки и уставилась было в одну точку, но тут же раздумала и снова поглядела на отца, словно все никак поверить не могла, как это он такое сказал.

– Да и вообще, – сказал отец, неожиданно перестав волноваться. – Да и вообще, для чего же деньги зарабатывать, если их не тратить? Куда копить?

Отец, когда говорил, любил по комнате ходить, курить, гоняя за собой облака дыма, а сейчас стоял спокойно и говорил уверенно.

– Вот купим Толику какую-нибудь обнову, – говорил отец рассудительно, – тебе пора пальто справлять, у меня костюм уже пообносился. Никого не забудем! И Александрю Васильевну тоже!

Отец взглянул на бабушку, и Толик даже подскочил. Бабка заверещала, будто ее режут.

– Тоже? – закричала она. – Тоже? Это как же так – тоже? Да ты кто такой тут командовать? Ты у меня живешь или я

у тебя, иждивенец проклятый!

Крича, бабка поднялась со стула и бегала вокруг отца, размахивая кулачками. Толик подумал, отец опять сейчас оденется, хлопнет дверью, и, когда вернется ночью, от него будет пахнуть вином. Но он не сдвинулся с места и на бабку, возле него бегающую, не взглянул, будто ее и не было.

– Ну так что, Маша? – тихо спросил он. – Долго еще это терпеть будешь? – Он кивнул на бабку, будто на самовар какой-нибудь, на неодушевленный, в общем, предмет. – Долго?

Мама, побелев как полотенце, медленно поднялась и заморгала.

– Нет, нет, Петя! – зашептала она, задыхаясь. – Я не могу...

Отец опустил голову, и Толику показалось – он опять не выдержит этого, сдастся снова, и бабка, как прежде, будет править домом – всегда и во всем. Толик напрягся весь, как бы помогая отцу не уступить, радуясь, что он сегодня такой решительный и резкий, и отец будто услышал его.

– Нельзя, – сказал он, не обращая внимания на мамины слезы. – Нет, Маша, так больше нельзя.

Мама стояла у стола, глядя то на отца, то на бабу Шуру, растерянно мигая и потирая виски, словно у нее страшно заболела голова. Бабка, притихшая было, блеснула глазами, повела носом, точно быстро-быстро высчитала что-то, и завизжала опять:

– Ну раз так, раз я такая-разэтакая, а вы самостоятельные,

съезжайте от меня к чертям собачьим! Катитесь к лешим!
Живите где хотите!

И вдруг заплакала.

Толик даже вздрогнул – никогда он не видел, чтоб бабка плакала. Он уставился на нее. Баба Шура стояла к нему лицом, вполоборота к матери и ревела в голос как белуга, и даже слезы у нее катились. Но не поверил ей Толик, не пожалел бабушку, потому что ясно видел, как, на него внимания не обращая, не таясь от Толика, бабка бросала на маму быстрые взгляды и подвывала все громче и громче, будто бы настаивая на своем.

А мама смотрела на нее, теперь уже только на нее, на свою мать, а на отца не смотрела совсем, и бабка все прибавляла и прибавляла голосу, выла уже взახлеб, и мама не вытерпела, бросилась к ней, взяла опять бабку за локоток, но бабка локоток вырвала, словно обиделась на мать, и та должна еще попросить у нее прощения и искупить свои колебания.

Отец повернулся к маме, и Толик снова увидел его глаза. Они были спокойные и решительные, как и тогда, по дороге домой; и сразу было видно, что отец все понял, хоть и не видел бабкиной симуляции. Понял, что это не правда, а спектакль.

– Ну что ж, – сказал отец маме. – Пойдем. Перебьемся как-нибудь. Глядишь, нет худа без добра, – скорей квартиру дадут. Собирайся!

– Нет! – крикнула мама. – Нет! Нет! Нет! – И слезы белы-

ми горошинами покатались у нее по щекам.

Глаза у отца погрузнели, он опустил голову, как раньше, понурил плечи. Но только на секунду.

– Эх, Маша, Маша! – сказал он. – Видно, и не было у нас с тобой ничего хорошего, раз ты так... Пойдем же, перебьемся, не пропадем... Но ведь нельзя так жить! Разве это можно жизнью назвать?

Толик вспомнил, как стоял он вровень с отцом на лавочке тогда, у ворот. Вспомнил, как отца сразу понял, и взглянул на маму: поймет ли она?

Но мама будто и не слышала ничего. Она все гладила бабу Шуру, успокаивала ее. Толик посмотрел на отца. Глаза у отца блестели, и ладони он сжал в кулаки, словно хотел драться.

– Пойми, нельзя так! – крикнул он.

А бабка все выла и выла, и мама обнимала ее, гладила по плечам, будто маленькую.

– Так ты идешь? – спросил отец снова, трогая маму за плечо.

От этого прикосновения мама вздрогнула вся, и бабка, почувствовав это, вдруг вырвалась из маминых рук, подбежала к двери, распахнула ее. В коридоре были люди, шла тетя Поля со сковородкой, и баба Шура, чтоб побольше народу слышало, заверещала истошным голосом:

– А ну съезжай, аньжанер, с моей квартиры!

Глаза у нее сверкали, остренький кулачок с вытянутым

пальцем указывал за порог.

Отец подошел к вешалке и натянул пальто.

Толик, сидевший все это время молча, встрепенулся.

Он видел все. Все. И не только сейчас, он видел всегда и все, что было здесь, в этой комнате. Он видел все от начала и до конца. Он видел эту войну отца и бабки при маминых молчаливых слезах.

Мама всегда была бабкиной рабыней. Слепой, молчаливой.

Он думал, теперь рабом станет и отец. Он был почти уверен в этом.

И вот – нет!

Отец не стал рабом этой проклятой старухи!

Он восстал!

Он сказал то, что они оба – мама и отец – давно должны были сказать этой бабке.

Он сказал это теперь.

Он правильно сделал. И Толик, ставший его верным другом, был абсолютно согласен с отцом.

Толик встрепенулся и подошел к своей шубе.

Он не сомневался ни мгновения.

Он должен уйти с отцом.

Дверь в коридоре была распахнута, бабка стояла у порога, а отец, уже натянув пальто, доставал из комода свои рубашки и бросал их в рыжую авоську. Рубашки мялись, падали в сумку комками, но отец не замечал этого. Руки у него тряс-

лись, он швырял рубашки со злостью, будто это они были во всем виноваты.

Мама стояла в углу, и руки у нее висели по бокам. Она походила на старуху – оглохшую и слепую. Вокруг нее что-то происходит, а она ничего не слышит, не видит, она устала уже от всего, и все ей безразлично.

Толик натянул шубу и нахлобучил шапку, поджидая, когда отец заберет рубашки.

И тут маму будто кто-то ударил. Она пошатнулась, бросилась к Толику и закричала дико, захлебываясь слезами.

– Не-ет! Не-ет!

Толик вздрогнул от этого крика, еще не понимая, что это из-за него так кричит мама.

– Я уйду с папой, – сказал он ей спокойно. – Ты оставайся, а я пойду.

В самом деле, ведь кто-то должен был идти с отцом? Но мама этого не понимала, ничего она не могла понять.

Она вцепилась в Толикину шубу и прижала его к себе. От порога, так и не закрыв дверь, к маме подбежала бабка. Теперь они вдвоем держали Толика. Он рванулся изо всех сил, но это было бесполезно, и тут только Толик по-настоящему понял, что наступил конец.

Конец всему.

Всему, всему, всему!

Толик представил себе пропасть, на краю которой он стоит. Внизу – тьма и страх, а мама и бабка толкают его туда.

В глазах у Толика поплыли круги, он рванулся и закричал что было сил, закричал, плача и вздрагивая всем телом:

– Я не хочу, не хочу с вами!

Вдруг он увидел отца. Отец стоял в дверях и смотрел на Толика. Отец шевелил губами, он что-то говорил, но Толик ничего не слышал. Он старался услышать, но уши заложило, и Толик ничего не слышал. Отец сказал что-то и кивнул Толику.

Потом прикрыл дверь, и его не стало.

Толик рванулся снова – отчаянно и сильно. Опережая его, баба Шура подбежала к двери и повернула ключ, пряча его в карман.

– Гадина! – крикнул Толик. – Гадина! Гадина! Гадина!..

И бросился на бабу с кулаками, но мама так сжала его, что у Толика перехватило дыхание.

Будто сумерки в Толикиной жизни настали. Где-то там, над головой, солнце ярко светит, синее небо плещется, словно река, а Толик ничего не видит – все вокруг кажется ему серым, плоским, каким-то туманным.

Весь вечер он тогда дома бился, хотел побежать вслед за отцом, хотел догнать его и, крепко взяв за руку, уйти вместе с ним, но мама и бабушка не выпустили его. Заперли дверь на ключ и сами с ним взаперти сидели. Но смешно – разве удержишь человека, если он решил уйти?

Утром Толик отправился не в школу, а к заводу, искать отца.

На улице было тихо-тихо. Солнце медленно выкатывалось из-за домов, розовел снег от его лучей, скрипел под ногами, и Толику казалось, что он идет по сыпкому киселю, в магазинах такой продают – лизни, и будет сладко. Чем ближе подходил Толик к заводу, тем больше становилось людей на улице. Взрослые шли, весело между собой переговариваясь, и Толик торопился, поспевая за ними. Перед проходной он попал в густой водоворот, пошел назад, против течения, на него натыкались, его обходили, поругиваясь беззлобно. Наконец Толик выбрался, перешел на противоположную сторону улицы и забрался на невысокую тумбу с чашей, где летом росли цветы, чтоб лучше было видно отца в этом водо-

вороте.

Он стоял в чаше, постукивая валенками, стараясь согреться, и все никак не мог надивиться, сколько, оказывается, людей по утрам идет на завод. И ведь все заняты, никто не болтается без дела, стоят у станков или чертят в конструкторском бюро, как отец раньше. «Если бы дать людям флаги, – подумал Толик, – получилась бы целая демонстрация». А демонстрация все шла и шла, и у Толика вдруг поползли по коже мурашки – он отчетливо услышал, как люди шагают в ногу, и хотя земля была покрыта снегом и она никак не могла гудеть у них под ногами – ему показалось, что земля под ногами у этой толпы, у этой демонстрации гулко ухаает и гудит.

Люди шли перед Толиком чужие, незнакомые, но он не чувствовал себя среди них посторонним. И то, что он стоял тут, над толпой, в этой странной чаше, никого не удивляло, будто все считали, что здесь есть отчего торчать мальчишкам, есть на что глядеть и чему удивляться.

Неожиданно – Толик даже и не заметил, как это произошло, – толпа исчезла. Только что казалось, ей нет конца, и вот вдруг она исчезла, скрылась в беззубой пасти проходной. Пробежали еще несколько человек – верно, опаздывавших, – и на улице стало тихо, пустынно. Толик почувствовал себя неуютно на вазе, где летом росли цветы, и спрыгнул вниз.

Отца не было. Может быть, Толик не увидел его в толпе? Но ведь он был на высоком месте, и отец должен был заметить его и подойти.

Опустив плечи и разом став похожим на отца, Толик побрел от завода. Теперь надо было провести где-то день, чтобы вечером снова прийти сюда. Прийти и все-таки встретить отца.

Толик припомнил вчерашнее. Уходя, отец пошевелил губами, он что-то сказал. Толик был уверен, что он сказал это ему, Толику, но вот что, что он сказал?.. Может быть, отец говорил, что ждет его, как и обычно, вечером, у завода? А может быть, он сказал, что сам найдет его?

Толик подумал, что походит на человека, который заблудился в лесу. Нет, не заблудился – он знает, как вернуться назад, но возвращаться нельзя, никак нельзя, ни за что нельзя, и он бредет вперед, зная лишь одно: где-то его ждут.

Но где?

Толик брел, опустив голову, задумавшись, и не сразу услышал, как его окликнули. Он обернулся и увидел отца.

Вначале Толик не поверил себе. Он стоял мгновение, не понимая ничего, не веря, что нашел, нашел все-таки отца, а потом ринулся, бросив портфель, навстречу высокому человеку с родными глазами, с родным лицом и ткнул носом в отцовское пальто. От отца пахло каким-то маслом, железом и еще чем-то заводским, и Толику до нестерпения захотелось бросить все сейчас и пойти с отцом на завод, туда, где работает огромная людская толпа, целая демонстрация.

Толик поднял голову и взгляделся в отцовское лицо – посеревшее, с тяжелыми синими кругами ниже глаз.

– Папа! – сказал Толик. – Я не хочу там! Я хочу с тобой!

В горле у него застыл комок, защекотало в носу. Отец положил ему руку на плечо. Рука была тяжелая, словно камень.

– Ну, ну! – сказал он. – Держи хвост морковкой! – Но больше бодриться не стал, сказал правду. – Понимаешь, – сказал он задумчиво, – куда же я тебя возьму? Нет, ты только не сердись, я хочу, чтобы мы с тобой были вместе, но я, понимаешь, нынче ночевал на вокзале... Сегодня устроюсь у товарищей и поскорей попрошусь в командировку. Потом надо будет подумать с общежитием... Как же я возьму тебя?..

Толику больше не хотелось плакать. Он смотрел на отца и понимал его, вполне понимал, потому что отец говорил с ним, как тогда, на скамейке, – лицом к лицу, как с равным.

– Ты не сердись, – сказал отец. – Такая уж жизнь, что делать? Попрошу, чтоб мне скорей дали комнату, и заберу тебя. Будем жить по-холостяцки. Согласен?

– Да, – ответил Толик и добавил, подумав: – Может быть, хоть тогда мама поймет...

Отец повернул Толика к себе и пристально взгляделся в него, будто видел первый раз.

– Ого, – сказал он, удивляясь, – да ты у меня совсем взрослый человек.

Толик улыбнулся ему, они пошли к проходной.

– Ты опоздал? – спросил Толик.

– Да и ты тоже, – ответил ему отец, хмурясь. – А опазды-

вать нельзя. Никому. Ни мне, ни тебе. Иди в школу. Если не уеду, в это воскресенье, в десять часов, жди меня... ну, например, у кино. Если не приду – жди через неделю.

Он наклонился к Толику и обнял его.

– Хвост морковкой! – шепнул он.

Толик остался, а отец пошел в проходную, и тут Толик увидел, что в одной руке у него авоська с рубашками, которую он взял вчера.

Возвращаясь к школе, Толик представил себе воскресенье и маленький кинотеатр возле их дома, куда они ходили раньше все вместе – мама, отец и он. Кинотеатр назывался «Огонек», и в нем показывали смешные детские фильмы. Толик представил, как они вдвоем с отцом смотрят картину с пляшущими человечками, и улыбнулся.

Как мало – один день! Всего один! И как много! Целый день!.. Сколько может случиться всякого за один день – и веселого, доброго, и злого, да еще такого, что всю жизнь тебе перевернет.

Но как может узнать человек о том, что с ним за день случится? Да еще пятиклассник какой-то, у которого и еда его, и уроки, и одежда, и вся его жизнь зависят от других, от взрослых людей. Что он может знать наперед и что ему ждать от этих взрослых?

Целый день Толик был в смятении, не умел разобраться сам в себе, то радуясь, что увидел отца и поговорил с ним, то давясь от слез, которые туманили глаза и мешали смотреть. Снова и снова вспомнил он вчерашний ужасный вечер, зная, что случилось непоправимое, и никак не веря, что всему настал конец и что отец не вернется.

После школы он не пошел домой, а побрел по городу, сторонясь шумных улиц.

Старые деревянные дома в тихих переулках вглядывались подслеповатыми окнами в мальчишку, идущего мимо них, а Толик вглядывался в дома, в морщинистые и мудрые лица, так непохожие на бездушные и плоские физиономии их каменных родственников. Толик подумал, что деревянные дома похожи на добрых стариков, которые потому и добры, что

старики. За свою жизнь они немало всего насмотрелись, наверное, и доброго и плохого, научились не обижаться и научились радоваться, но остались добрыми и поэтому все-все понимают. Ах, если бы все старики были такими!

Улочка, по которой шел Толик, то горбатилась, спускаясь вниз ступеньками, вырубленными в снегу, то поворачивала вбок, блестя на солнце голубыми глазами домов, то проваливалась в ложок, и тогда тени от крутых берегов синили снег краской, похожей на вечернее небо.

Толик добрал до конца улочки, уткнулся в пустырь и пошел обратно, переходя незнакомыми переулками, будто брел по лабиринту, напечатанному в «Мурзилке», – только там все просто, сразу весь лабиринт видно, а тут не видно ничего – лишь дорога перед тобой. Он упирался в заборы, возникающие неожиданно, шел, пока воздух не стал густым и темным. Вспыхнули лампочки на улицах, будто загорелись гирлянды на елке, снег заискрился желтым светом, и Толик вышел на свою улицу, словно кубиками, уставленную многоглазыми коробками из серого кирпича.

Дома было тихо, и мама сидела возле бабки, как вчера. Будто время назад повернулось и сегодня – это не сегодня вовсе, а день уже прожитый, прошлый.

У дверей на табуретке стоял тазик, в котором отец мыл руки. Сейчас тазик был пуст, но рядом лежало полотенце, и на плитке отфыркивался чайник. «Ждут, – подумал Толик, – ждут, что вернется». Он криво усмехнулся, радуясь за отца.

«Теперь его никто уже не пилит», – подумал он, но легче от этого не стало. Толик представил отца спящим на твердой вокзальной лавке, а вместо подушки под головой у него авоська с рубашками, и слезы снова подкатили к глазам. – Все, все, конец! Пропади она пропадом, эта бабка, эта баба Шура проклятая!»

Толик медленно разделся, думая об отце, а бабка и мама внимательно глядели на него, будто знали что-то такое о нем нехорошее. Как-то пристально они глядели, словно вглядывались в него, внутрь заглянуть хотели, словно рентгены какие...

Толик разделся, сел за стол, вытащил тетрадки, а баба Шура нехотя встала, все так же зорко на Толика глядя, потом в угол пошла. Как на Толика – тоже пристально, – на бога своего посмотрела, встала на колени, ими пристукнув, голову опустила, зашевелила губами – покорная вся такая, послушная своим иконам. Потом закрестилась часто-часто, завсхлипывала, закланялась.

Толик старался не смотреть на бабку, глядел в задачник, пробуя сосредоточиться, а мама обернулась к бабке, и лицо у нее было жалкое, униженное.

– Мама, – сказала она вдруг, – мама, лучше помолитесь, чтоб вернулся... Может, поможет?..

Теперь же Толик смотрел, смотрел на просящее, белое лицо мамы, слушал, как повторяет она: «Может, поможет?..», соображая, про что это она бабку помолиться просит, и

вдруг увидел, как бабка повернула к маме вздернутый свой нос и как с коленок резво вскочила.

– Кому молиться-то? – крикнула бабка и повторила, чтоб получше ее слышали: – Кому молиться-то? Ему?

Рукой в бога ткнула, который на иконе нарисован, будто никак понять не могла, удивляясь будто – уж и вправду, не богу ли мама ей советует помолиться.

– Ему?! – крикнула. – Ему?! – И со смеху затряслась. – Да он деревянной. Не слышит он, нарисованной!

Толик подумал, бабка рехнулась, кто его знает, может, вот так и сходят с ума. Только что покорно головой перед иконой кивала, шевелила губами, шептала молитву, крестилась тремя пальцами – и вдруг такое про своего же бога выкрикивает.

А бабка по комнате пробежалась, будто разгон набирая, и снова крикнула.

– Нет, – крикнула, – ему я молиться не стану! Я другому богу помолюсь! Который слышит! Который по земле ходит! Партейному я богу помолюсь, чтоб навел порядок среди своего большевика! А то ходят тут безоштаные, женются, детей рожают, а потом семьи бросают. И коммунисты еще!..

«Вот тебе и с ума сошла! – подумал Толик, снова ему тяжело стало, душно. – Вот она как, значит, в бога-то своего верила, крестилась усердно. Враки, значит, все это были, враки. Представление одно. Везде представление...»

Толик вспомнил – игрушка у него была, перевертыш. В

желобке таком куколка катается с шариком внутри. Желобок наклонишь, шарик в куколке покатится, и она только упадет – сразу поднимается и снова улыбается, потому что у куколки две головы, два лица. Перевернется куколка – и снова стоит, перевернется – и стоит. Перевертыш.

Вспомнил Толик эту игру и куколку с бабкой Шурой сравнил. Перевертыш бабка. Перевернется – и как ни в чем не бывало.

Только что богу молилась, вид делала, будто верит в него, а теперь перевернулась и вон как говорит! И хоть бы что ей! Ни стыда, ни смущенья в ней ни вот столечко, будто ничего не случилось, будто не обругала она только что своего бога.

Вдруг Толик возле себя бабку увидел. Снова пристальные ее глазки, просверливающие насквозь, в него уперлись. Тетрадку в клеточку бабка ему протягивает. Улыбается каменной улыбкой. Губами от удовольствия чмокает.

Толик не понял, чего это бабка от него хочет, взглянул на маму. Мама, все бледная, ему головой кивнула: мол, да, мол, так и надо.

– Возьми-ка ручку-то, обмакни в чернила, – поет бабка и гладит Толика по голове липкой ладонью.

Опять, значит, гадость будет, так и жди. Но обмакнул Толик ручку, писать приготовился.

Подперла бабка кулачком щеку, проговорила не торопясь, диктуя:

– Товаришши партийной комитет! К вам обращается сын

коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня...

Толик ручку выронил, встал.

– Пиши, пиши, – сказала ему бабка и кивнула.

И мама тоже кивнула, соглашаясь с бабкой.

Толик шагнул от стола к вешалке, стал шубу с крючка стягивать и услышал, как замок в двери щелкнул. Поднял голову, увидел бабку с ремнем в руках.

Потом бабка расплылась, будто в тумане, и сквозь слезы, изо всех сил сдерживаясь, чтоб не зареветь, Толик сказал:

– Не буду!.. Ни за что не буду!..

Бабка шагнула к Толику и хлестнула его ремнем по спине. Толик онемел и стоял минуту, открыв рот, все соображая, что же случилось. Потом, собравшись пружиной, кинулся к столу. Он схватил, как гранату, бутылочку чернил и, ожесточась, швырнул ее. Швырнул ее в бабкин угол, в бабкины иконы. Бутылочка грохнула, разрываясь, и чернила синим киселем поплыли по стене. Не попал Толик в икону.

И тогда бабка хлестнула его ремнем по лицу. Щека у Толика сразу будто отнялась. Больно не было, нет, просто Толик не чувствовал теперь своего лица – оно стало твердым, деревянным будто и жарким, – и он засмеялся. Толик смеялся, а бабка била и била его, ожесточась, сжав губы в тонкую синюю полоску.

Толик все смеялся, и вдруг он увидел мамино лицо.

Она стояла перед ним, и у нее не было ремня.

– Пиши! – сказала она ему, и лицо у мамы походило на

бабкино. – Пиши, сынок, пиши!

– Предательница! – прошептал Толик, и бабушка снова ударила его.

Молнии сверкали в комнате – они слепили Толика, они шатали его, и уже звенело в ушах, будто лопались какие-то струны.

Толик снова увидел мамино лицо. Он обрадовался было – ну не может, не может же мама вот так стоять и глядеть, как бьет его бабушка!

И, шатаясь от слепящих ударов, Толик спросил – не крикнул, нет, а спросил негромко и вопросительно:

– Мама? Мама?..

– Пиши! – сказала мама. – Так надо!

Все оборвалось в Толике. Пустота. Одна пустота и звон, нарастающий, гудящий звон...

Словно в тумане, медленно шевеля ватными ногами, он приблизился к качающемуся столу и, не помня ничего, взял ручку.

– Ну, – сказала бабушка, – пиши! – И голос у нее был ласковый, будто ничего и не было, будто просто уговаривала она Толика.

Он подвинул тетрадку и вывел слова, которые проскрипела бабушка: «Товарищи партийный комитет... к вам обращается сын коммуниста Боброва, который бросил свою семью и меня... Верните мне, товарищи партийный комитет, моего папу...»

Он пишет с ошибками и уронил уже в тетрадь не одну тяжелую кляксу... Но ни мама, ни бабка не ругают его, а гладят по голове, но Толику все равно, что они там делают.

Они дают ему рюмочку с желтоватой водичкой, и Толик пьет ее, с трудом разбирая терпкий запах валерьянки.

Он пьет ее, потом ест какую-то еду, и ему все равно теперь что делать. Все равно...

Ему все равно, что бабка, заклеив в конверт письмо, одевается и идет на улицу, к почтовому ящику...

Он остается один с мамой, и она смотрит на Толика большими глазами. Но он не видит этого.

Ему все равно...

Всю ночь под воскресенье шел снег, и Толик, проснувшись рано, когда за окном еще густо синел ранний рассвет, подошел к окну и долго смотрел на медленно падающие хлопья.

Он сидел на подоконнике совсем продрогший, пока дальние дома не очертили треугольники своих крыш, и тогда оделся, словно в полусне. Поднялись мама с бабушкой, задвигали молча кастрюлями.

Толик слушал эти звуки, глядя на новые сугробы за окном, и снег гипнотизировал его.

С тех пор как случилось все это, с тех пор, как избитый, с гудящей головой, он написал дрожащими буквами несколько строк, все в нем замерло. Будто умер тот, бывший Толик, тот Толик, который страдал за отца, ненавидел бабушку и воевал с ней. Тот Толик, который гонял шайбу в танкистском шлеме.

Тот Толик умер – и родился другой. С пустой, будто ватной, душой. С пустотой вместо сердца. И ему теперь все равно, что вокруг. Потому что он сам – ничто. Нуль. Пустое место, как думал он когда-то про бабушку.

Да, тот Толик умер, а этот смотрит мертвыми глазами на снег, который идет за окном.

Потом натягивает валенки и старую шубу. Надо пить чай,

и мама говорит ему об этом, но он не слушает ее и идет на улицу. Мама не кричит, не плачет; она смотрит на Толика большими глазами, молчит, а он идет куда-то со двора, сам не зная. Он любит теперь ходить просто так.

Иди себе и иди. И ни о чем не думай. Слушай, как хрустит снег под ногами. А не хочешь, не слушай. Только шевели ногами. Ногами шевелить можно и не думая.

Он идет и идет с улицы на улицу. Он идет и идет, просто так идет, будто бы не зная куда, но приходит к кинотеатру.

Он не прячется, нет, – он становится на другой стороне, навалившись на летний киоск, где торгуют водой, и стоит.

Толик видит отца. Видит, как прохаживается отец у кинотеатра и поглядывает на часы, и смотрит по сторонам, но не смотрит на заколоченный киоск, который стоит напротив кинотеатра.

Толик глядит на отца, и сердце у него не сжимается и не бьется больно. Потому что сердца у него теперь нет. И комок не подползает к горлу. Потому что там, внутри, – вата.

Толик смотрит на отца пустыми глазами, смотрит долго, не моргая, а потом поворачивает назад.

Он идет неизвестно куда, а снег все валит и валит, будто зима торопится все свои лари, все сундуки от снега к весне освободить.

А Толик бредет по улице, плетется по переулкам, выбирается из лабиринтов, как может.

Вернется Толик поздно, когда снова засинеет улица, когда

опять зажгутся огни.

Мама выставит тарелку вкусной картошки, но он лишь поковыряет вилкой и ляжет спать.

Он теперь не засыпает.

Он будто проваливается в тартарары и, проваливаясь, вспоминает, как видел он недавно сон про разноцветную тварь, которая душила его в химическом кабинете.

Вспоминает, как бабка сон этот объяснила.

Хвалит бабку, сжав губы: «Молодец, пророчица, все правильно предсказала!»

Часть вторая

Тихий омут

1

Позорная жизнь теперь у Толика. Заячья жизнь. Целый день он сидит дома. Уроки выучит и глядит во двор, боится на улицу выйти. Уж не помнит, когда клюшку брал в руки, забыл, куда сунул танкистский шлем.

А если вышел из дому, теперь одна у него дорога, всего одна – в школу да из школы, напрямиком. Всего три квартала ходу-то, и раньше Толик этот путь просто не замечал. Только хлопнула школьная дверь за спиной, а он уже у своих ворот. И в школу так же.

Теперь по-другому. Теперь с крыльца он сходит озираясь, будто какой-нибудь жулик. Прежде чем за угол завернуть, выглянет осторожно, внимательно посмотрит на людей: кто идет. И если что покажется не так, соберется весь в пружину – и бегом. Или еще научился: зайдет за спину к взрослому и идет вслед за ним, будто тень, и его из-за взрослого не видно.

Придет Толик домой, вот так, таясь, бросит сумку возле порога и долго сидит на диване, понурясь, шапку не сняв. Ждет, когда сердце колотиться перестанет и пальцы не будут

дрожать.

Вот такая жизнь...

Давно ли бегал Толик отца встречать после работы, ждал его, искал в людской толпе по знакомой походке, по плечам, опущенным устало, ждал и беззаветно любил, а сейчас, сейчас?..

Сейчас между ними пропасть. Никак через нее не перепрыгнешь.

Толик сидит у окна, и страшные картины представляются ему. Вот почтальон приносит письмо в партийный комитет. Вот читает его какой-то строгий человек, похожий на директора школы, и велит позвать отца. Вот приходит отец и стоит перед строгим человеком, опустив голову, чтобы не было видно, как он покраснел. Вот строгий человек стучит кулаком на отца и, может быть, даже грозитя исключить его с завода...

Остальное Толик представлял смутно. Это ведь из школы могут исключить, а на заводе, наверное, не так, и этот строгий человек вряд ли будет стучать кулаком – разве можно стучать на отца? В общем, все это ерунда, как там будет, самое страшное – отцу не поверят.

Если бы письмо прислала бабка или мама, на худой конец. Взрослый пишет про взрослого, а тут сын жалуется на отца. Такого, наверно, еще не бывало. Такого вообще не может быть.

Сам не раз сводил Толик счета с разными своими врагами

и знал, что в этом деле можно честно стукнуть в нос. Или обозвать обидным словом. Но честно, прямо в глаза, один на один. И никогда он не думал, что есть на белом свете сила пострашней кулаков и обид. Что есть такая гнусная сила – клевета.

От тяжких мыслей к горлу подкатывал комок и в глазах все туманилось от набегавших слез. Толик моргал часто-часто, и слезы постепенно пропадали. Голова кружилась, его подташнивало, хотелось выйти на улицу, вздохнуть глубоко, чтоб набрать в себя побольше свежего, чистого воздуха, чтоб убрался из горла тяжелый комок и стало легче дышать, но он сидел по-прежнему у окна, уставясь в забор.

Иногда что-то находило на Толика, и он ругал себя последними словами. Ему казалось, что все это ерунда, все эти мучившие его мысли, что ему просто надо немедленно увидеть отца. Побежать на улицу, к заводской проходной, дождаться его, а потом, схватив за рукав, рассказать все, как было, все, как есть...

Толик вскакивал, одевался второпях, выбегал в полутемный коридор, освещенный мутной лампочкой, и словно спотыкался.

Сказать все, как есть?.. А что сказать? Сказать, что это все бабка и мама? Что это они во всем виноваты, а он тут при чем?..

Ни при чем? А кто писал письмо? Разве не он?

«Как же, – спросит отец, – так случилось? Ты писал – и

ты не виноват?»

Действительно, что тут ответишь? Мол, струсил? Дескать, не выдержал, когда били, и предал? Но ведь предал! Все предал, что ни говори!

Он вспоминал, как писал под бабкину диктовку. Вспоминал этот мятый листок из тетради в клеточку, и ему снова было душно. Толику вдруг чудилось, что его руки пахнут, нестерпимо пахнут гадостью, и тогда он шел к умывальнику и долго мылил их.

Потом он снова слонялся по комнате, натываясь на стулья, садился к окну, глядел во двор до синих сумерек, а утром перебегал от угла к углу и озирался, как вор, боясь встретить отца.

2

Несчастья по одному не случаются.

Есть даже поговорка про это: пришла беда – отворяй ворота, Толик слышал где-то.

Но одно дело слышать, другое – самому узнать... Всегда ведь, когда говорят что-нибудь, думаешь: это не про меня, это про другого кого-то... А потом все случается, приходят эти напасти-несчастья одно за другим, одно другого хуже, и ты думаешь, что тут что-то не так... Что эти несчастья одно на другое так просто не сваливаются. Что кто-нибудь это тебе нарочно подстраивает. Кто?.. Ну... неизвестно. Кто-то такой, кому вообще все видно.

Может, бог?

Толик настороженно поглядывал в бабкин угол, долго думал, потом чертыхался. Нет, не может быть.

Как это, бог и Женька с Цыпой? Бог и Коля Суворов? Или Машка Иванова? Бог и Изольда Павловна, например? При чем тут бог? Просто не повезло пятому «А», и бог тут ни при чем.

Четыре года проучила ребят старая их учительница Анна Ивановна – добрая, приветливая. Когда в пионеры принимали, Анна Ивановна сама ребятам поручительство дала – вот как во всех до единого уверена была! Ну а на пятый год будто с обрыва в реку ребят бросили. На самую глубину. Плывите

дальше! Вместо одной учительницы, которая и арифметике, и русскому, и родной речи учила, много теперь учителей. И главная среди всех – «русалка», Изольда Павловна.

Изольда Павловна, как и имя ее, такая же гладкая. Волосы у нее с рыжинкой, а на носу пенсне – такие очки без дужек.

Папа говорил Толику, что пенсне больше в старое время носили, до революции например. Сейчас редко. А почему? Потому, наверное, что в автобусе с этими пенсне не потолкаешься и в магазине тоже. Слетят и – хруп! – в толкучке, вот тебе и все!

А раньше народу, что ли, меньше было? В общем, вот как-то так. Точно, одним словом не доказано, почему раньше больше пенсне носили, а теперь удобней очки. Но Изольда Павловна носит пенсне. Как Чехов. Толик Чехова хорошо знает, его портрет в школьном коридоре висит. И «Каштанку» он читал. Но у Чехова глаза добрые и внимательные, а Изольда Павловна, когда в класс входит, ни на кого даже не смотрит. Идет себе к учительскому столу, глядит в окно, потом портфельчик свой бросит и не на класс посмотрит, не на ребят, а куда-то над ними. Еще Изольда Павловна любит стоять у окна, чтобы ее лица против света не видно было. А еще умеет как-то так сидеть, что стеклышки у пенсне от света отражаются и глаз у Изольды Павловны не видно. Два блестящих стеклянных кругляша только.

За это Толик Изольду Павловну боится. И ничего такого Изольда Павловна ему не сделала, но Толику кажется, что

все еще впереди. Все еще может случиться, потому что прячет глаза Изольда Павловна, потому что не глядит на класс.

Боятся Толик Изольду Павловну и знает, что все ребята тоже боятся. Мальчишки ее сторонятся, а девчонки перед ней лебезят: «Изольда Павловна!», «Изольда Павловна!» Заискивают, в рот ей глядят, улыбаются. Такая уж натура девчоночья.

И еще одно. Про Изольду Павловну в классе не говорят ни хорошо, ни плохо. Если кто «пару» получил и злится, недоволен, лучше помолчи. Потому что Толикиному классу дважды не повезло: у них Женька учится.

А Женька – дочка Изольды Павловны. А Изольда Павловна – их классная руководительница.

Правда, ни в чем таком Женька пока не замечена. Училась она хорошо. В классе были круглые пятерочники – Коля Суворов, например. А Женька, как бы хорошо своей матери ни отвечала, та всегда ей только четверки ставила. Лучше других отвечала Женька, а Изольда Павловна все равно четверки ей ставила – ну не обидно ли!

Женька со своими четверками шла к парте спокойно, только чуть губы поджав, а в перемену объясняла Цыпе, что мать ей четверки принципиально ставит. Что другая бы учительница ей только пятерки ставила.

Цыпа кивал головой, предпочитая с Женькой не ссориться, а Толик хмыкал про себя. Ему казалось, Женька про эту принципиальность нарочно говорит, чтоб в классе больше ее

мать уважали.

Тут же он останавливал, упрекал себя. Ведь это хорошо, что учительница свою дочку строже, чем других, спрашивает! Так и надо!

Но уж что-то слишком старалась Изольда Павловна, спрашивая свою Женьку, и слишком громко говорила Женька о принципиальности. Нет, не нравилось это Толику, хоть убей! Вообще ему Женькины разговоры не нравились.

Она всегда себя так вела, будто ей известно про каждого в классе такое, что никто не знает. Будто все у нее на ладошке. И если на перемене заходил какой-нибудь спор, Женька всегда последней высказывалась. И все – а особенно девчонки – ждали, что она скажет. Будто не Женька это говорила, а Изольда Павловна. И говорила-то Женька, как мать. Так говорила, будто к этому и прибавить нечего. Будто Женькино мнение окончательное и спорить тут больше не о чем.

Хуже того, эти Женькины высказывания всегда означали неприятности для того, о ком она говорила.

Первым был Цыпа. В каждом классе, наверное, есть разгильдяй и лодырь, так вот Цыпа был разгильдьяем пятого «А». Лучшим и крупнейшим сачком и лентяем.

– Ах этот Цыпленков! – сказала однажды на перемене учительница Женька, пренебрежительно морща нос. – Да он законченный негодяй!

Цыпа в эту минуту мирно целился в доску мокрой тряпкой. Услышав Женькино высказывание, он сразу свял, кон-

чки губ у него опустились вниз, а глаза, только что походившие на автомобильные фары, разом потухли.

И действительно, прогуляв однажды, сбегав, иначе сказать, в кино во время уроков, Цыпа впал в немилость у Изольды Павловны, и все наглядно убедились, какова их новая учительница.

Ее воспитание походило на старинную мельницу в Древнем Риме, где зерна растирают два плотно пригнанных друг к другу каменных жернова, – есть в учебнике истории такая картинка. Изольда Павловна кинула Цыпу в мельницу и растерла его в порошок.

Это было не так сложно. Учительница велела развернуть первую парту лицом к классу, пересадила за нее Цыпу и спрашивала его на каждом уроке целый месяц кряду. Цыпа изменился на глазах, но что с ним, беднягой, стало! Стоило на переменке, когда Цыпа бегал в поте лица или боролся с кем-нибудь, крикнуть громко: «Цыпленков!» – как Цыпа крупно вздрагивал, вытягивался в струнку и бледнел.

Он, наверное, был готов теперь сделать для Изольды Павловны что угодно. Броситься в ледяную воду, прыгнуть с небоскреба, потушить пожар. И этот зигзаг в Цыпиной судьбе предсказала Женька.

Раньше, при старой учительнице, Толик и Цыпа вроде даже дружили, играли в шайбу на отцовской площадке, и Толик давал Цыпе свой шлем.

Потом Толик ходил к Цыпе на именины и здорово краснел

тогда. Все принесли Цыпе подарки – у него два деда были и две бабки, да еще другие гости, и мать, и отец полковник, – а Толик явился с пустыми руками.

Толику было стыдно, он повертелся для приличия, а потом тихо исчез. Толик ждал, Цыпа спросит на другой день, почему он ушел, но тот ничего не спросил, словно и не заметил Толикиного исчезновения.

А разругались они очень просто. Играли в шайбу, и Толик Цыпе забросил гол. Тот заорал, что неправильно, хотя все ребята говорили, что все было законно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.